



альманах

ДО И ПОСЛЕ



Литературный



11' 2007

№11

а л ь м а н а х

ДО и ПОСЛЕ

Л и т е р а т у р н ы й





Руководитель проекта Иосиф Варди

Редакционная коллегия:

Леонид Бердичевский (гл. редактор),
Генриетта Ляховицкая, Карл Абрагам,
Давид Яновский

Общественный совет:

Е. Гескина, М. Шейнбаум

Макет и оформление

И. Малкиэля



*Произведения, представленные
в альманахе, публикуются впервые*



*Права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка на альманах обязательна*

ISBN 6-891-41-05

Берлин 2007



• «ДО И ПОСЛЕ» • ПОЭЗИЯ И ПРОЗА •



ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ

* * *

Мягкий, ласковый день. Всё в цвету.
Листья юные клейки.
Именинником по небу ходит
улыбчивый шар.
...На стене фото в ряд –
их отщёлкала старая «лейка»,
С фото лица глядят, все живые:
грустны иль смешат.
И звучит инструмент непонятный,
похож на жалейку,
И плывут имена монотонно
шурша, не спеша:
Шнеер Шима, Рахиль, Залман, Мина,
Менахем, Шмуль, Бейлка.
Под лопаткой прокол, в горле ком
и немеет душа.
Смотрит: с сумочкой, бант в волосах,
сарафан на бретельках.
Рядом брат. Маловат, вид испуган,
но мячик прижат.
На другом: мальчуган у окна,
на окне канарейка,
И старик в кацавейке...
И стрелки назад, ход круша...
Духота, лай овчарок, крик, плач,

поезд, узкоколейка,
Ну, а дальше... Нет – дальше. Обрыв.
Где без рельсов, без шпал...
Пара туфель, стакан, чемодан,
томик Шиллера, Блейка,
Сарафан, два подсвечника,
злотый, замотанный в шарф...
Мягкий, ласковый день. Всё в цвету.
Листья юные клейки.
Именинником по небу ходит
улыбчивый шар.
На стене фото в ряд.
Все живые: Менахем, Шмуль, Бейлка,
И часы идут мерно.
И стрелки назад не спешат.

* * *

Посуда – чистоты пробирочной.
Луч переломлен в гранях вазы.
После кампании промывочной
В помине кухонной нет грязи.

Ночь. Шёпот: « Ну, иди же, милочка!» -
Две щётки напряглись в экстазе.
Но между – стражем ёрш бутылочный.
Тщета. Несбыточность фантазий.

* * *

Жаркость встреч?! Шум дискотеки?!
Тишина библиотеки?!
Вяжет лень, смыкает веки,
Ноги не хотят идти.

Средства не найти в аптеке,
Чтоб из жил – хмельные реки.
Знать, изжил себя навеки
Побудительный мотив.

* * *

День омрачённый сутулится.
Ночь, хотя нет и семи.
Люди, как сонные курицы,
Сомкнуты кругом семьи.

Т-сс, ш-ш, мне не до Кустурицы,
Не до проблем в Сомали.
Хоть и заснежены улицы,
Шорохи слышу земли.

* * *

Они были – одно,
Как без швов полотно,
Несмотря на различье породы.

Они пили вино,
Целовались в кино
В конце зала, где мало народу.

Было им всё равно,
Что снаружи темно.
На двоих-то? С избытком свободы!

В руки было дано
Золотое руно.
Так прошли тридцать лет и три года.

А потом? А потом...
Затворилось окно.
Наступила плохая погода.

* * *

Расползлись...расплелись...
Растеклись... разбрелись...
И поди разберись:
Там иль здесь – она – жизнь?

Ты от дум отстранись.
Поверти, присмотрись
В грани ломкие призм:
Где есть – верх, где есть – низ?

* * *

Вновь уносит куда-то меня голова...
Гул доносится справа и слева.
Обостряется зрение: из снега – трава,
Зацветают заснувшие древа.
Возвращается слух: различимы слова,
Хоть ещё не сложились в напевы.
Значит, кто-то иль что-то вступает в права.
Раскаляются нити нагрева.

* * *

Поперхнуться тихим счастьем:
Стих – течение реки.
В нём ума нет соучастья
И не виден след руки.

* * *

Жила одна молекула.
То – бекала, то – мекала.
Была как все молекулы –
Обычный генотип.

И эта вот молекула
Вдруг что-то докумекала,
И в одночасье съехала
С привычного пути.

Её водили к лекарям,
Водили к ней аптекарей,
Стращали: Быть калекою!
Позор нам, прекрати!

В кого она? Мол, не в кого:
Дед – техник, тётки – пекари.
Молекула к молекуле,
Уродов не найти.

Упрямилась молекула
И, впрямь, умом поехала.
Своё всё кукарекала,
Но только – взаперти.

* * *

Солнце провалилось в нети...
Ветви виснут словно плети,
Листья клёнов крапом метит
Кто-то, скрюченный дугой...
Листья прячутся, как дети,
Схорониться хотят в лете,
И баюкает их ветер
Окровавленной рукой.

* * *

Жёлтый шарик печёт,
Сень деревьев влечёт,
И стрекохут кузнечики в травах.

Чёрный дым с труб течёт,
Счёт идёт: чёт-нечёт,
Одни – влево, другие – направо.

...Жёлтый шарик печёт,
Сень деревьев влечёт,
Всходы сочны на почках кровавых.

Орёл-решка – расчёт,
Потому что – учёт:
Одни – влево, другие – направо.

* * *

Лето, осень – всё одно.
Времена спарованы.
Неизменное панно:
Вороны да вороны.
Жизнь – театр и жизнь – кино...
Прохожу не солоно...
Или я уже давно
По другую сторону?

* * *

С вечной дилеммою бой в голове моей:
Два полушария – за равноправие:
Правое – верх норовит взять над левым, а
Левое не подчиняется правому.

* * *

Выпустив кровавый сок,
Обагрился лепесток.
«Ты лети, лети листок,
С Запада да на Восток».
Сожгла жрица узелок.
...Жница шла через село,
Прижимая оселок.
Приближался жатвы срок.

* * *

В уютном гнёздышке под стрехой
Трясётся выводок от смеха:
Что выше стрехи, вот потеха! –
Им говорит отец: «Звезда!»
Птенцы – родителям утеха,
Обласканы, летать не к спеху.
Уютно в гнёздышке под стрехой.
...Зачем он выпал из гнезда?!

БОРИС РОХЛИН

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Записки сумасшедшего Гоши

«Проблемы Гортензии больше не существует.

Гортензия не цветок, не женщина, не Она.

Это – вышивка. Счастлив»

Борис Рохлин. «Гортензия»

Чжэн Мо, переодетый всадником, выходит, сопровождаемый слугой, и начинает говорить:

– Я – Чжан, по фамилии...

Проснулся в слезах. Вспомнил покойного отца. Был министром церемоний, но умер в пятьдесят, не достигнув. От неизвестной болезни. Ходили слухи, яд или что-то в этом. Через год умерла мать. И я брожу с книгой и мечом и не достиг ещё завершённости. Блуждаю по четырём сторонам.

Плакать перестал. Слёзы высохли. Одна повисла на реснице. Смахнул.

Теперь вот семнадцатый год, вторая луна, первая декада. Чего? Танский император Дэ-цзун только что вступил на престол. Хочу отправиться ко двору, чтобы сдать экзамен. Если сдам, получу военный чин. Дорога проходит через Хэчжунфу, я прохожу заставу. Один человек по фамилии Ду живёт здесь. Я с ним из одного округа. Вместе учились начальной словесности. Потом он бросил литературу и взялся за военное дело. Получил титул Великого Генерала, покорившего Запад. Под его командованием находилась армия в сто тысяч человек. И должен был охранять. Я надеюсь с ним встретиться. А тогда я отправлюсь в столицу искать повышения и преуспевания.

Выпил чаю и опять заплакал. Полил Голубой Цветок. Успокаивает.

Вот, пришло. Забыл. Сейчас вспомню. Голубой Цветок признал меня.

Ходил сквозь стены. Наблюдал. Огорчён и недоумеваю. И эти образы – образ Ки Б.? Не верю. Произошла ошибка, путаница. Недоразумение. Зачем, зачем оторвался от солнца этот проклятый лоскут материи? Зачем он стал свёртываться, принимать форму, а не расселся в приятной, тихой пустоте?

Был в психиатрической. Просил взять. Не могу жить в бедламе мира. Отказали.

-Вы – чувствительный, – говорят. Таких не берём. Отсутствует отделение.

Свершилось. Он призвал меня. Не удивлён, но опечален. Большая ответственность. Взошёл на вершину Горы. Не называю. Не педант. Известна из учебных пособий. Подъём был нелёгкий, но одолел. Увидел Святого или Блаженного. Сидел в позе писца и комментировал буквы.

Спрашиваю его.

-Почему ты не довольствуешься буквами, как они есть, и добавляешь к ним ещё и ещё?

Отвечает.

- Что я? Есть один человек, который явится через много поколений и накрутит такое!

- Зачем же Ты выбрал посредником меня?

- Молчи, – говорит, – это входит в мой план.

- Какова же его награда?

- Обернись, – сказал Он.

Я обернулся и увидел, как на разделочном столе мясника нечто разрезают на небольшие аккуратные куски.

- И это – его награда?

- Молчи, это тоже входит в мой план.

Нет. Это был не Он. Долго плакал. Всё в перевернутом виде, всё вверх ногами.

Мочащийся пролетарий, и душу на блюде несёт к обеду идущих лет. И тихим целующим шпал колени обнимает мне шею колесо паровоза. Надо торопиться.

Шарф – 2 штуки, шапка – 1 штука, трусы – 2 пары, лифчиков – 2, а ещё придёт дытченко-сороковников с кальсонами – 6 штук и письмом от Феодора Мопсуэстийского.

Сгоревший, – газ, спичка, – дом продолжает тлеть. Ветра нет. Дым подымается по прямой и вертикально. Мерцают Большая Медведица с Малой. Подмигивают. Смотрю и грустно. Умиление и заплакал.

Верочка, не увидимся мы с тобой, но... В Средние Века торговые пути вели из стран Востока в Лондон через Брюгге. А лелис – ночная птица, любит сосны и вырубки. По ночам сидит на дорогах. Смотрит на луну. Красиво.

Ходил сквозь стены. Познакомился с Пантыкиным из Верхней Бушмы. Обрадовался страшно. Одинокий и поговорить не с кем. Спасается в нише для жизни. Персонально нашёл. Называется У-шу. Боевые искусства в монастыре Шаолинь. Теория и практика. Тридцать шесть упражнений согласно уставу. Ты наносишь удар и получаешь в ответ. За всё воздаяние, – объясняет. Получил и пребываешь в созерцании. Живое убивать запрещается.

Вернулся к себе. Чуть не застрял в стене. Но прошёл. Долго думал. Живое убивать запрещается. Но убивают. Тьма крошечная, один фонарь, и тот погас. Плакал и горько вздыхал.

Вспомнил немцев. Шлегели, Шамиссо, Шторм, Штифтер. Все на «ша». У немцев всегда так. Не на «ша» только Манни и Гёте с Гофманом. Слушать крик петухов, лай собак и не посещать никого до старости и смерти. Летние заметки из зимнего подполья, врата восприятия в шутовском хороводе и марек хласко с красивыми двадцатилетними.

Я – неверный, вспыльчивый, одержимый клоакой. Пространство сузилось, стало оседать небо. Ветер сгребал и разбрасывал жёлтое и красное. Они лежали на панели...

Давно не ходил сквозь стены. Плакал редко. Читал. Выписал для памяти.

Записки сумасшедшего

Исходящая №37. Дневник заведующего канцелярией

Дневник фокса Микки

Записки психопата

Шина. Сумасшедшие записки о деяниях Божиих, совершённых литературным жителем по имени Ю.Вэ.

Сравнивал и анализировал. Состояния, реакции и поступки. Пришёл к выводу: у меня другое и не имеет отношения.

Перевернул страницу и вспомнил: море, море, море. Так кричали когда-то у... сержанты и рядовые. Нанялись для битвы и возвести на трон. Не вышло. Пришлось заняться восхождением. Взошли не все. Кому повезло, увидели море. Отсюда и крик. Вошёл в историю и стал знаменит. Часто повторяется. Я тоже часто.

А в Афинах случилась чума. И многие перемерли. К тому же во время войны. Особенно чудно противостоять. Вели бои за место на бе-

регу. Чтоб сжечь близкого и родного. Было не до пелопонесской. И птицы покинули город. А я остался.

Неожиданно пришла мысль. Рассказать о некоторых беседах на разные темы. Главное – соблюдать очерёдность. Эти беседы мы вели с Верочкой совсем недавно.

Вначале природа, мораль, язык, стиль, басня. Потом академики, алхимики, догматики. Далее,

галантность и мизантропия. Продолжение: богословы и должностные лица, вознаграждения и наказания. Дополнительно: загробная жизнь, её регламент. В качестве приложения: инстинкт единорогов и состояние мира. В заключение: проблемы питания, пищеварения, размножения и сна ангелов.

Тут пришла Пасечник Жанна Ивановна – медсестра. С уколом. Не сопротивляюсь, бесполезно. Хотят сделать меня, как они. Не получится.

Знаю, завтрашнего дня не будет. Но не выношу кладбищ. Разве что выпить. Как вижу, сразу у меня стакан в правой. И до краёв. Желание пить наказуемо. Но море, море, море...

Плывут корабли финикийцев, а рабби Вениамин из Туделы, что в Королевстве Наварра и Арагон, путешествует по Передней Азии и Северной Африке.

А я, Верочка, без тебя. И живу в Скотопригоньевске вместе с Манон Дверюгами, Эдмонами Простата, Олесями Незалежными, Пфердами Насхорниевнами, Аркадьями Фекальевичами (Фектистовичами, Феликиссимовичами), Мунями Априори и пр. Да, приятно верить, но не дай бог дожить.

Оказывается, я замёрз под Петрозаводском, недалеко от Пудожи. Снилось белая ночь, июнь, середина, Верочка, родинка на щеке, поцелуи, слёзы, счастье. Ушёл на тот безмятежным и неомрачённым.

Рельсы вызмеили трамы уже при социализме. Где же он? Приснился? Сняли с репертуара? Или пьеса закончилась и пошла другая?

Режиссёр мне говорит, – я тогда был актёром, Верочка, ты помнишь, – вы должны дать почувствовать зрителю, как идёт клёцка по вашему пищеводу. Вы не едите. Ест зритель. Эта клёцка попадает в его желудок. Попадёт ли она в ваш, неважно. Вы понимаете, клёцка идёт. Зритель сопереживает радость поглощения. Он должен почувствовать себя сытым, как после плотного обеда. Театр – это всё вместе: баня, спальня, столовая, рай и пожизненное заключение для невиновных.

О, кем я только не был! Актёром, учителем чистописания, квакером, центурионом, архивариусом, теологом. Под именем Ацидофилуса

Пробайотека я издал «Трактат о молитве». В нём я писал, что не буду молиться богу, пока я беден, и не буду писать его с большой буквы. Кто он такой и почему я должен это делать? Молиться, когда я нищий, чистейший подлог.

И «Книгу голубя» написал я, и «Опровержение всех опровержений», и «Езду во остров любви», и «Декады», и «Анатомию ипохондрии», и «Мост поздней улицы», и «Рассуждение о методе», и «Водоплавающего Юстиниана», и «Книгу тростника, колеблемого ветром», и «Царство мёртвых в стиле ампира» с подробным описанием флоры, фауны, ландшафта, образа жизни и системы управления. Сейчас я пишу книгу «О физиологии ангелов».

Пришла Пасечник Жанна Ивановна. С уколом.

Потом долго плакал. Не дают сосредоточиться, теряю связность целого. Ключки текста, запятые, точки, пустые страницы. Всё бесформенно и хаотично.

Ходил сквозь стены. Оказался в комнате, прохладной, пустой, светлой. Долго там был. Сидел на полу, не плакал, думал о разном. Верочке написал письмо. Я часто пишу ей или разговариваю, как если б она была здесь, рядом. Я знаю, что она далеко, но не всегда. Иногда совсем рядом. Стоит только протянуть руку. Протягиваю. Никого, А была. Я знаю.

День за днём дождит. Я весь во власти давящего. У меня уже нет сил. Я измучен. А-а-а!

На днях присутствовал на обеде, – был приглашён, – у архиепископа Великой Армении. Познакомился, Верочка, с интересным человеком. Зовут его Картафил. Впрочем, у него много имён, – шепнул мне сидевший рядом со мной господин, – Агасфер, Бутадеус, Исаак Ланэдэм. Сколько об этом человеке было сказано нелепостей. Не перечсть. Говорили, что он был сапожником, слугой претории, доверенным лицом Пилата, погонщиком мулов, легионером, отличившимся в печальной для римлян битве в Тевтобургском лесу и много чего ещё. Басни, всё это басни. Неряшливость воображения.

Я то сразу понял, что он человек необыкновенный. Видно, авантюрист, Фоблас, Дон Жуан. Да, он знаток человеческого сердца.

Красавец. Таинственен, притягателен. Напоминает чем-то и Казанову, и Калиостро. Но выше, выше. Обаяние редкое. А какой удивительный рассказчик. В течение всего обеда никто не произнёс ни слова. А обед затянулся до позднего вечера. Он – ходячая энциклопедия, и немудрено при его долгой жизни.

Он говорит обо всём, но о недоразумении, случившемся у него с

Сыном, ни слова. Можно только догадываться. Вероятно, было задето его самолюбие, оскорблена гордость. А он – человек очень гордый.

Рассказывал в частности о своём участии в походе Хубилая в Китай. Но монгольское завоевание продолжалось столь долго, что ему всё это надоело. Он не поклонник войн. Они вызывают у него брезгливое чувство. Верочка, он начисто отрицал своё присутствие при захвате Елвена арабской конницей Фадейра. А то, что он когда-то славил аллаха, он назвал подлым вымыслом. Он, действительно, скорее скептик. Уроки женщин не прошли даром.

С кем он только не встречался. И где только не был. Не буду перечислять. Верочка. Ты устанешь. У него было хорошее настроение, и он признался нам в маленькой слабости.

В 1620 году он издал в Париже роскошный альбом под названием «Театр любви», посвятив его всем женщинам, как знак своей симпатии к ним.

С гравюрами на меди, исполненными знаменитыми художниками: Питером Брейгелем Старшим, Агостино Каррачи и пр. Эмблемы любви, аллегории, изображение муз, добродетелей и пророков. Стихи, фантазии, надписи дополняли картины и служили комментарием.

О чём я? Прости, увлёкся. Ты у меня одна. Только ты, Верочка.

Но ты не слышишь, ты не отвечаешь. Ты не можешь этого сделать. Ведь я убил тебя.

Пришла Пасечник Жанна Ивановна. С уколом.



ДАВИД ЯНОВСКИЙ

МЁРТВОЕ МОРЕ

Кто любил тебя,
Мёртвое море?
Кто наполнил горькою болью?
Кто убил тебя,
Мёртвое море?
Кто укутал саваном-солью?

Это слёзы,
еврейские слёзы,
Что веками льются рекою.
Это грозы,
жестокие грозы,
уничтожили всё живое.

МОЙ НАРОД

Давно отшумели шумеры,
Исчезли с карты урарты.
Гибли народы и веры,
Менялись гербы и штандарты.
От культа Ра и Изиды
Остались одни пирамиды.
Руины Эллады и Рима
Дряхлеют неотвратимо.

И только народ мой странный
Свитки Книги упорно
Несёт сквозь века и страны –
Храм свой нерукотворный,
Который с высот Синая
Нам даровал Адонаи.

СПОР

Спор ущемлённых самолюбий
Взаимные обиды нижет.
Пыл полемических прелюдий
Стихает и гремит опять.
И каждый, слушая, не слышит,
Своею только правдой дышит
И не пытается понять.

* * *

Вчерашней правды тусклый свет
Не освещает нам дороги.
Отцов и дедов пыльный след
Затаптывают наши ноги.

Вдали виднеется чуть-чуть
Плафон грядущего рассвета,
И нам не освещает путь
Огнём хвостатая комета.

Нам остаётся лишь мечтать,
Вдыхая аромат сирени.
Надеяться и ожидать
Внутри рождённых озарений.

* * *

Ноябрь. Похолодало, задожило,
И краски осени поблёкли, потускнели.
За тучи спряталось ленивое светило,
Деревья шьют защитные шинели.

Тоской осенней дышит влажный воздух
И птицы не поют в садах осиротевших.
Осталось мало их в холодных, мокрых гнёздах,
В далёкий тёплый край не улетевших.

Темнеет рано, поздно рассветает,
Уныло всё вокруг, совсем как на погосте.
По городу какой-то новый грипп гуляет
И от сырой погоды ноют кости.

АНТИПОДЫ

1. На свет явились мы из тьмы
И тень её в себе несём.
Мир – это дерево, а мы –
Плоды незрелые на нём.
Созреет плод и упадёт,
И снова в темноту уйдёт.

Из света мы, а не из тьмы,
И вечный свет в себе несём.
Мир – это дерево, а мы –
Птенцы беспёрые на нём.
Птенец окрепнет, станет птицей
И в бесконечный свет умчится.

2. Из мудрых книг я пью давно
Познания терпкое вино,

Хоть знаю: радости в нём мало
И горечь спит на дне бокала.

Из мудрых книг я пью давно
Познания чистое вино.
Мой ум и душу воспитало
Вино из этого бокала.

* * *

«Цыганские напевы»
Сарасате
Выводит скрипка.
Вспоминаю песню
Вертинского.

* * *

Жёлтые паруса,
Куда же вас гонит ветер
По мутным каналам Шпрее?

* * *

Осень пускает
По волнам Шпрее
Кораблики разноцветные.

* * *

В шумном зале
Перед концертом
Зазвучала мелодия флейты.

* * *

«Без гнева и пристрастья...» *

Бред собачий,
Компьютер? – Вряд ли.
Для него программу
Составил человек.

**Тацит «Анналы»*

МАРК ШЕЙНБАУМ

ЯРЫНИН ГРЕХ

Говорят, что в любом селе должен жить хотя бы один праведник, без которого не стоит село. Сколько может быть там грешников, об этом не сказано.

В селе, о котором здесь речь, в тот день нашёлся он всего один. Вернее не грешник, а грешница.

Накануне в соседнем райцентре фашисты расстреливали евреев. Всех, до единого.

Отсюда их никуда не отправляли. Отправлять их куда-то было бы накладно. Больно уж глухие здесь места, ни дорог, ни мостов. Райцентр был крохотным и евреев в нём было немного: ремесленники, служащие районных контор, с пяток бывших лавочников. Лавки отобрали у них ещё года два тому назад, когда в эти края пришла, согласно пакту Молотова-Риббентропа, советская власть. Были среди евреев ещё старенький фельдшер, аптекарь и раввин, который при «советах» потерял свой официальный статус. Погибли все: они, их жёны, дети и немощные старики. Всех их собрали в молельном доме (здешняя синагога сгорела в первые дни оккупации), а потом вывели за околицу и расстреляли.

Местный «голова» объявил, что мародёрства он не допустит. Мелкие ценные еврейские вещи, те, которые не перейдут в собственность рейха, на следующий день смогут получить желающие, но лишь с его одобрения в каждом отдельном случае. Весть об этом в тот же день донеслась в село. До райцентра отсюда чуть больше десятка километров по песчаной дороге. На телеге за час-полтора, а если лошадка резвая, то и быстрее туда добраться можно. Слух о расстреле евреев вызвал у большинства здешних жителей оцепенение. Больно уж страшным это представлялось: ведь и детей тоже!..

Большинство расстрелянных было крестьянам хорошо знако-

мо. Кому-то столяр делал окна для нового дома, кому-то что-то шил портной, которого обычно привозили в село на время, и он кроил и шил для многих; лавочник кому-то в долг отпускал гвозди, за которые уплачено так и не было. Многим был знаком всегда готовый оказать помощь фельдшер, терпеливо объяснявший как принимать лекарство, и тоже дававший в долг, аптекарь.

Были среди здешних крестьян и антисемиты. Где их нет? Но и они как-то не решались отправиться в райцентр за вещами убитых.

Ярыну к антисемитам причислить вряд ли можно было. Своё отношение к евреям, если её спросить об этом, она вряд ли чётко сформулирует. Скорее, оно было у неё нейтральным. То, что с ними случилось, и у неё вызывало какое-то ощущение беспокойства, хотя любая власть знает, что ей делать:

«А кто распял Христа? Ерунду говорила Солониha, что Христос был евреем. Дура она! Он же, конечно, наш! Своего они бы не распяли, они своих не обижают. Это известно всем. А добру всё равно пропадать не следует! Достанется не мне, так другим». Разговор с двумя соседками о совместной поездке в райцентр успехом не увенчался. Солониha эту идею отвергла сразу, Катерина немного поколебавшись: «Грех это, да и кровь может быть на одежде. Она трудно отстирывается».

Когда Ярына на рассвете следующего дня засобиралась в дорогу, муж даже лошадь не стал запрягать. Пришлось ей самой. Никак не пролезала лошадиная голова в хомут, а потом «Машка» никак не хотела становиться в оглобли. В здешних местах лошадей не запрягали в шлею, что было бы куда легче, а Ярына до того почти никогда сама не запрягала. Кстати, колхозов здесь ещё создать не успели, и лошади у людей были свои. Муж, проснувшись от её суетни, зло выругался, чего за ним обычно не замечалось, и сказал, чтобы она хоть дочек с собой не брала. Больше никто из села в тот день в райцентр не собрался.

Вернулась Ярына к вечеру. Несколько баб на скамейке напротив её дома сосредоточенно щёлкали семечки. Сидели они, видно, давно, хотя погода не баловала: была уже поздняя осень. Явно ждали её возвращения. Никто ни о чём не спрашивал. На возу виднелись две табуретки, шкафчик и какие-то тряпки, прикрытые домотканым рядом. Ярына открыла ворота и въехала во двор. Всё это совершалось в полном молчании. Скамейка напротив дома тут же опустела.

Спустя несколько дней немцы открыли ненадолго школу в селе. Ярынина тринадцатилетняя дочка Люба пришла в школу в пальто, которое, по здешним понятиям, можно было считать шикарным. Мно-

гие дети были одеты в домотканые куртки. Пальто было Любе чуть длинноватым, и рукава тоже заметно перекрывали ладошки.

На первом же перерыве пальто стало предметом всеобщего внимания. Почти все девочки, да и многие мальчики подходили и с деланной заинтересованностью шупали «материю». Кто-то спросил хорошо ли отстиралась кровь, кто-то предположил, что где-то в пальто может быть дырка от пули и просил её показать. В школу Люба больше не пришла. Школу, правда, вскоре закрыли власти. Не было денег и учителей.

В дом к Ярыне намного реже стали заходить соседки. Даже «за огнём» не приходили. Спичек ведь не было, и соседи снабжали друг друга на растопку жаром из печки.

Сразу же после освобождения села Советской армией мужа Ярины мобилизовали.

Спустя несколько месяцев пришла «похоронка».

Ярына осталась вдовой с двумя девочками. Ещё шла война. Младшей, Олесе, было двенадцать, Любе – пятнадцать. Как-то они втроём собрались пешком в город на базар, поменять продукты на соль и мыло. Пешком, потому, что лошадей реквизируют то ли партизаны, то ли проходившие воинские части, а может и бандеровцы. Такое случалось тогда часто в этих местах. Вышли они из дому поутру и, когда солнце было в зените, устав, сели отдохнуть и перекусить чуть в стороне от дороги. В какой-то момент Люба встала и только успела отойти на один – два шага от родных, когда раздался взрыв. Мина была мощной. Любы не стало спустя несколько минут, Олесе в городе ампутировали ногу выше колена, у Ярины на всю жизнь осталось изуродованным лицо.

«Это за Ярынин грех», – говорят в селе и сейчас. Впрочем, никто объяснить не может, в чём были грешны обе её дочери. Никто не может объяснить также, в чём была грешна девочка, которой прежде принадлежало пальто. И вообще, сколько грешников в селе может приходиться на одного праведника?

УРОК ДЕМОКРАТИИ

В один из майских дней 1952 года мне, тогда молодому врачу и всё ещё комсомольцу, было велено добраться в село Заозерье, и там выполнять роль помощника уполномоченного по подписке на Государственный Заём. Вплоть до 1956 года ежегодно проходила подписка на

заём, особого энтузиазма у населения бывшего СССР не вызывавшая. Поскольку изредка в этих краях ещё пошаливали бандеровцы (дело происходило в Западной Украине), мне было предложено захватить с собой пистолет, от которого я отказался, хотя и представил себе, как мужественно я смотрелся бы с кобурой у пояса. Как и можно было предположить по названию, село, куда меня направили, располагалось у озера. На противоположном берегу – сосновый лес, посреди озера – довольно большой остров с редкими берёзками и торчащими стеблями нескошенной прошлогодней травы. Крестьянские дома в Заозерье располагались полукругом вдоль берега. Огороды спускались непосредственно к воде, где слегка покачивались прикреплённые цепью к колышкам хозяйские лодки. Рядом с берегом у некоторых домов мок большой, грубо сколоченный из досок ящик, «скриня» по-украински, в котором плескалась живая, пойманная недавно рыба, всегда готовая переместиться на сковородку. По наличию этих скринь можно было определить, какую из хат обошла в войну «похоронка». Правда, и некоторые здешние бабы тоже наловчились рыбачить.

Люди не пришли в себя после войны. Вслед за ней, новым бедствием, последовала коллективизация. Она здесь завершилась всего два года тому назад. Бабы ещё узнавали своих бурёнок в тощих полупривидениях с комьями навоза на запавших боках, и не одна роняла слезу при виде колхозного стада, идущего с выпаса. Жили все трудно. Вдов в селе хватало. Налоги на всё и вся, включая кур и фруктовые деревья, обязательные поставки продуктов государству – всё это вместе – довело многих крестьян до обнищания. А тут ещё и заём.

Уполномоченным райкома партии, помогать которому следовало мне, оказался Владимир Иванович Ильенко, агроном по образованию, человек влюблённый в своё дело, мало и без особого удовольствия пьющий. Он с восторгом в первый день нашего знакомства часа три рассказывал мне о всех деталях выращивания и обработки льна, его сортах, достоинствах льняных тканей и вкусовых качествах льняного масла, забыв о том, что ему следовало бы скорее изложить мне, своему помощнику, тактику подписки на заём. Стоило взглянуть на его добродушное усатое лицо, чем-то напоминавшее Дон Кихота, а также учесть, что в роли Санчо Пансо при нём состою я, как становилось ясно, что план по займу будет с треском провален.

Митинг по поводу подписки открыл сельский «голова». Первым оратором оказался известный балагур, пожалуй самый непутёвый мужик в селе, «дядько Степан» по прозвищу «Ветрило». Он был известен тем, что подрабатывал продажей колхозного сена и леспромхозов-

ских дров. Прodelывал он это по довольно простой схеме. Покупателей найти было несложно, продажа того и другого производилась на отдалённой лесной поляне от имени, но без ведома хозяев. Выручка шла полностью в Степанов карман, а односельчане, если случайно и узнавали о его «грандиозных» торговых сделках, хранили молчание, так как и здесь уже понемногу утверждалась мораль, согласно которой обворовывать колхоз и государство и не грех вовсе. Степана даже избрали депутатом Сельского Совета, поскольку остальные мужики в депутаты не очень стремились. Взгромоздившись на трибуну, он произнёс довольно длинную речь, где многократно упоминал товарища Сталина и неизвестно почему ссылаясь на легко запомнившуюся ему цитату из Ленина: «Учиться, учиться, и ещё раз учиться...». Закончил он своё выступление, заявив, что первым подписывается на заём в сумме 100 рублей и призывает всех следовать его примеру. Степан попросил авторучку у Ильенко и размашисто расписался в ведомости. Стоявший рядом со мной председатель Сельского Совета, весь сжался от неожиданности. Оказалось, сумма, на которую каждый из жителей должен был подписаться, была сообщена всем заранее. Степану, учитывая его несправедные доходы, полагалось подписаться на целых 1000 рублей. Рубли были ещё дореформенные (до хрущёвской реформы), красивые с виду, но легковесные. Степан явно шукавил. Подписка и дальше пошла «через пень - колоду».

Когда Ильенко, уже после митинга, уговаривал первую же колхозницу подписаться, та тут же обратилась ко мне и заявила, что мне, врачу, должно быть доподлинно известно, что у неё «болит в крежах, шумит в голове и мучит гемороль впридачу» а если и не известно, то она просит меня тут же её осмотреть и подтвердить, что болячек у неё уйма и, следовательно, денег никаких и в помине быть не может.

Некоторые приводили с собой кучу замурзанных, плачущих детей и ссылались на их болезни и недюжинные аппетиты. Кто-то привёз на возочке деда – инвалида без ног в овчинном кожухе, хоть и было по-летнему тепло. Этого же деда привезли и на второй день, но под другой фамилией, уже без кожуха. Подписка на заём плавно превращалась в амбулаторный приём, чему я не препятствовал, твёрдо усвоив ещё в институте, что отказывать в медицинской помощи кому-либо непозволительно.

К середине второго дня Ильенко заявил, что от меня для дела один вред, и он организует мне почётную ссылку на лодке на остров, расположенный посередине озера, снабдит меня питанием на весь день,

и если кто-то захочет ко мне на приём, то пусть добирается туда вплавь, поскольку все остальные лодки в селе он конфискует.

К исходу третьего дня, когда во всех ближайших сёлах план по займу уже был выполнен полностью, мы могли отпартовать о каких-то жалких 20% выполнения.

О том, что пришлось выслушать бедному Владимиру Ивановичу по телефону от районного начальства, мне он не сообщил, но представить себе это было не трудно. Нам обещали всё же помочь.

На следующее утро «помощь» прибыла. Перед сельсоветом с разгона, под громкое «тпруу...», подняв облако пыли, затормозила подвода, запряжённая парой резвых лошадей. На подводе восседал первый секретарь райкома комсомола Якименко в сопровождении второго секретаря Сидорчука. Они успешно выполнили план по займу в соседнем крупном селе и партийное начальство не сомневалось, что и нас они смогут «взять на буксир». Если мы с Ильенко походили на героев Сервантеса, то эта пара напоминала Пата и Паташона. Правда, я ни в одном фильме не видел знаменитых датских комиков в таком сильном подпитии. Якименко обозвал нас «слабаками» и заверил, что продемонстрирует нам, как следует проводить подписку. Первой же женщине, которая попыталась обратиться ко мне с жалобами на своё здоровье, он сказал, что главный доктор здесь он, и ей пропишет такое лекарство, что она навек позабудет дорогу к докторам любой специальности, включая гинекологов. Лексикон, которым пользовались наши «учителя» для агитации включал в себя самые «изысканные» выражения, преимущественно на русском, с небольшими вкраплениями украинского языка и полонизмов. Когда диалог достигал особого накала и у Якименко голос срывался на фальцет, он предлагал очередному кандидату в «заимодатели» пройти вслед за ним в соседнее помещение, видимо стесняясь всё же немного меня. По дороге он демонстративно расстёгивал кобуру. Нет, выстрелов мы не слышали, хотя года три тому назад в одном из сёл этого же района секретарь райкома партии повесил на площади крестьянина, не пожелавшего не то подписаться на заём, не то вступать в колхоз. Справедливости ради, следует сказать, что несколько позже он за это, не очень большой, но срок всё же получил.

К сожалению, не все перлы, которые произносили наши «учителя» запомнились. Много явню тянуло на своеобразную классику. Кто-то из крестьян посмел сказать, что он думает, мол, подписка – дело добровольное. Якименко тут же возразил: «А ты не думай, что попало, ты думай что нам партия велит». Или: «Ты уже членом в колхозе, а зад у

тебя всё ещё единоличный». «Ты у своей бабы за пазухой денег поищи, у неё там от тебя точно заначка имеется, а ты туда давно не лазил, всё по блядям, да по блядям».

Изысканным был не только лексикон наших «учителей», но и методы убеждения.

«Агитация» проводилась и далеко за полночь. Выглядело это так: очередному «отказнику» в спокойном тоне разрешалось уйти домой. Якименко вынимал карманные часы и вслух начинал обратный отсчёт времени: «Ивану до дома 10 минут хода. Вот Иван вышел из сельсовета, вот он идёт мимо свинофермы, вот он миновал сеновал, вот он поссал за сараем, он уже на пороге дома, вот он сел перекусить... Участковый, быстро, бегом за ним!». Милиционер приводит Ивана. – «Будешь подписываться?» – «Нет? Иди домой!». Повторяется тот же отсчёт, несколько продлённый: «Вот он перекусил, вот он снял кальсоны, вот он полез на печь к Устине... Участковый, беги...» – «Будешь подписываться?» – «Нет? Иди домой». После четырех, пяти походов Иван обычно не выдерживает и подписывается на ту сумму, которая была ему указана. Начинается обработка следующей жертвы по этой же схеме. К утру уже и на участкового тоже было страшно смотреть.

В ход шёл и прямой шантаж. Чаще всего это была угроза «обрезать» огород по самое крыльцо или, как выражался Сидорчук, «по самые яйца». Угрожали судом за самовольный захват земли под огород, хотя никакого захвата и в помине не было. Пугали карами за сокрытие домашней птицы от налогообложения, посчитав сюда и диких уток на озере, иногда и аистов на крыше. Мужиков пугали: «вот расскажу твоей, как тебя осенью застукали с Федорой под стогом сена». Как выяснилось, Федора была известна в селе, мягко говоря, как женщина не претендовавшая на звание праведницы. Но воздыхателей Якименко ей приписывал совершенно произвольно. Сидорчук нашел у кого-то на чердаке, при несанкционированном никем обыске, деревянную борону, которую своими руками смастерил полвека тому назад дед хозяина, и она хранилась как семейная реликвия. Хозяин был тут же обвинён в сокрытии сельхоз. инвентаря от обобществления.

Самого злостного неподписанта исключили из колхоза. Для этого тесное помещение сельсовета набили людьми до отказа: все стоят впритык друг к другу, яблоку упасть негде. «Есть предложение исключить такого-то из колхоза. А ну, кто против? – сядьте! – Единогласно». Исключение из колхоза означало, что у крестьянина для начала отнимут приусадебный участок.

Эти методы оказались действенными. План был выполнен, мы с

Ильенко посрамлены. Мероприятие закончилось банкетом, на котором нас угостили 12 сортами самогона. Якименко, дегустируя, безошибочно определял в какой бутылке самогон из сахара, в какой из ржи, свёклы и т.д. Сидорчук оказался ещё более тонким дегустатором: он точно определял в каком селе самогон произведен и кто автор жидкости в данной бутылке: «Это Горпына из Речицы, это Евдоха из Локницы». Прощаемся с местным активом, нас усаживают, вернее, укладывают на две подводы. Уезжаем с сознанием выполненного долга. По дороге, видимо, когда телегу трянуло, Сидорчук выпал из подводы. Остальные заметили это не сразу. Пришлось вернуться на целый километр. Его нашли спящим в небольшой луже. Причём, существовала ли эта лужа до того, как он туда попал, осталось невыясненным. Самое невероятное то, что никому, и мне в том числе, всё происходившее не показалось даже странным. Демократия как-никак!



ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

ВРЕМЯ ПИК

Время пик: вспышка, миг
в ритме гула.
Просто так, как пустяк
промелькнуло.

Пустобрёх-скоморох,
словно все.
Вкривь и вкось, на авось,
шёл к нему я.

Вдруг рывок, как ожог,
и – погасло.
Новый кросс лишь наркоз –
жаль, напрасно.

Вновь, увы, всюду рвы
да ухабы.
Тусклый свет спутал след –
вот бы, кабы?

Сколько дел не задел, -
список краток:
выдох, вдох и итог
без загадок.

Как сплести все пути,
чтоб сначала?..
Время пик целый миг
проморгало.

УТРЕННИЙ ДОЖДЬ

Мне с дождём неуютно, -
дух сковала мне лень.
Дождь испортил мне утро
и расстроил мой день.

Барабанит по стёклам,
по душе, по мозгам.
Погасить эту б склоку –
дождевой тарарам!

Ну, а тучи беспечно
ткут дождя полотно.
Стук, как брань человечья,
проникает в окно.

И никак не пойму я,
чем свой день начинить?..
Дождь, мне нервы шлифуя,
продолжает острить.

* * *

Негромким тоном первый гром
Осеннюю ведёт беседу.
Исполнил реквием по лету
Небесной прихоти излом.

Мы ритмы звуковых потерь
Воспринимаем как примету:
Вынашивать придётся лето
Нам девять месяцев теперь...
Сквозь осень, зиму и весну
Ждать лето из природы чрева.
Из хаотичного напева
Отметить летнюю струну.

ПУЩА-ВОДИЦА*

Памяти юности

Помню, утро тогда разбудил голосистый петух,
огорошив округу своим изумительным криком.
Но он быстро охрип, и, дыханье сорвав, потух
и я бросился в сад, возбуждённый настигнутым мигом.

Трудно вспомнить когда это было, но, право, давно,
на двенадцатой линии, в Пуще-Водице, на даче.
Кровь по венам плясала, как в штофе играет вино.
Мне шестнадцатый год. Разве как-то могло быть иначе...

Я впервые познал поцелуя горячего вздох
и на женскую грудь я склонился своей головою.
Хоть и было давно, но забыть до сих пор я не смог,
что случилось под крик петуха, дачным утром, со мною.

После много бывало подобных красивых картин.
Много опытных женщин любил и встречал на пути я,
но та, первая встреча, – той юности первый зачин, -
мне открыла источник восторга любовной стихии.

* дачный посёлок под Киевом.

МЕЧТА

Мечта желала воплотиться,
ей надоело слыть мечтой,
быть недоступной, как жар-птица,
и властвовать над пустотой.

Ей так хотелось состояться,
реальностью весомой быть,
и душам не читать нотаций,
и спрятать в подсознание прыть...

То возникала, как блудница,
то растворялась, как туман.
Сердца прокалывала спицей,
и слёзы слизывала с ран.

Читала, наклонившись ближе,
смятение и страх в глазах.
Владела мыслями бесстыже,
вертела ими второпях.

Мечты-плутовки ухищренья:
гримасы, вздохи, взрыв, покой,
не изменив ничьих решений, -
мечту оставили мечтой.

ГОЛУБЬ

Он не сизарь и не почтовый, -
любви чердачной результат.
Не то, чтобы породы новой,
но он приковывает взгляд.

Он летом отдыхает в нише,
не замечает мелочей:

парующихся птиц на крыше,
в грозу и дождь кусты аллей.

В нём всё – осанка и величье,
как подобает королям.
Презрение и безразличие
ко всем соседским голубям.

Его не испугает лаем
дворовый взвинченный щенок.
Всё понимает и вбирает
его внимательный зрачок.

Ни важный дутыш или турман,
его не смеют зацепить.
Навстречу бросится он бурно,
как Гамлет: «Быть или не быть!»

Днём на посту, - сидит на ветке,
проводит ночь на чердаке.
Уверен я: он голубь редкий,
в своём обычном армяке.

МОНОЛОГ ОТШЕЛЬНИКА

Незамечаемый никем,
я с окружающими нем,
в своей замкнулся оболочке.
Лишь стены, пол и потолок, -
мой ограниченный мирок, -
я исчерпал себя до точки.

Нет места мыслям и словам,
стихи шепчу я по ночам, -
пока не одолеет кашель.

Ничем не пользуюсь теперь
и даже старый шифоньер
прогрыз жучок – древесный шашель.

И молью траченный костюм, -
свидетель дам, блюститель дум,
меня уже не привлекает.
Повисли щёки – пара гирь,
три раза на день пью чифирь, -
большой пакет на чашку чая.

И книги свалены в углу,
покрылись пылью на полу,
и в ручке высохли чернила.
Отшельником глотаю дни,
мне только тишина сродни, -
судьба меня приговорила.

ИВРИТ

Гортанной россыпью иврита
молитвы повторял мой дед...
В словах их смысл был иль нет,
тогда, по молодости лет,
я не искал, где тайна скрыта.

Я повзрослел. Душой поэта
стал понимать: библейский стих
глубинней помыслов мирских,
дороже копей золотых, -
пропитан Совестью и Светом.

Его теплом Земля согрета, -
об этом нам напомнил Бог,
в стихе библейском наш источник,

существования залог,
и Время подтвердило это.

Бегут века. Прочней гранита
молитвами скреплённый дух,
он не упал, и не потух...
Стихом библейским тешим слух, -
гортанной россыпью иврита.

Из цикла «О ремесле»

* * *

Дискутирую с упрямою строкой.
Закоулками веду её вперёд.
Я прошу её: «Пожалуйста, открой,
как рвануть мне в поэтический восход!»

Многоточия я ставлю и тире,
знак вопроса, запятые, - не впопад.
Что-то новое ищу в её игре,
а случаются удачи, - им я рад.

Просыпаюсь я и сразу, поутру,
открывает интуиция секрет:
поведение строки мне по нутру,
нахожу её я прихотям ответ.

А она ведёт безмолвный разговор
и проталкивает свой размер стиха.
Оглушителен и радостен задор, -
до того она воздушна и легка.

Я дискуссию продолжить не берусь:
подчинюсь строке, хоть и дрожит рука.

Хочет дактилем, хореем, - ну, и пусть,
только б не оборвалась моя строка.

* * *

Каждый стих – мастерства урок
и работа над ним – порукой.
Я – поэт, собиратель строк,
задыхаюсь от звона звука.

Не люблю я рифмой бренчать, -
пульс спешит пером по бумаге,
выливая метафор рать
из поэзии гибкой фляги.

Почерк мой разборчив и строг.
Не питаю к коллегам зависть.
Я – поэт, собиратель строк,
в них не пристань моя, а завязь.

Никогда я не рвусь вперёд.
Низко кланяюсь всем мгновеньям.
Каждый стих – это мой полёт
и ответ моему вдохновенью.

Говорят: «Он весел и скор!» -
мне удача не по карману.
Я бросаю немой укор
фальши, глупости и обману.

Вовсе я не «конёк-горбунок»,
что плывёт ошалело к славе.
Я – поэт, собиратель строк...
не прибавить здесь, ни убавить.

АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

ДВОЕ

– Ах ты, глупое Существо! – сказала она собаке. – Ну, иди. Иди скорее к своей мамочке. Моя девочка. Шуша – хорошая? Очень хорошая, – приговаривала она, глядя собаку, подставившую своё брюхо для хозяйской ласки.

Хозяйка продолжала думать, что она – хозяйка. На самом деле ею в доме уже давным-давно была Шуша, помесь болонки и дворняги, найденная когда-то на помойке. С тех пор прошло очень много лет, и Шуша с отвращением вспоминала то далёкое время, когда в поисках какой-нибудь еды она разгрызала множество мусорных пакетов, выброшенных глупыми людьми. Годы, проведенные в богатом доме, сделали её гурманкой – она отъелась, растолстела. Шуша, до кончиков когтей на лапах, была предана хозяину, который нашёл и принёс её в дом. Когда он ещё жил с ними, она так и норовила, гуляя с ним на улице, сунуть нос в мусорный ящик. Но он быстро отучил её от этого, строго внушая – она не какая-то там дворняга, а самая настоящая болонка из приличного дома. Хозяина она обожала, ни на шаг не отходила от него, преданно заглядывая ему в глаза. Стоило ему уйти, она тут же усаживалась у входной двери в ожидании его возвращения. Ничто не могло сдвинуть её с места. Иногда так проходил час, другой, и его приближение она чувствовала задолго, возбуждённо выражая своё нетерпение и поднося в зубах к входной двери его домашнюю обувь. Выгуливать себя она доверяла только ему и, когда, по необходимости, это делала хозяйка, которая чувствовала, что собака просто терпит её, Шуша неохотно подчинялась, и всё время рвалась домой, к нему.

Когда они с хозяйкой остались вдвоём, Шуша очень тяжело переживала отсутствие хозяина. Она так и не простила его предательства. Его взаимоотношения с хозяйкой Шушу не волновали. Потом, мно-

го позднее, она поняла, что он специально принёс её, уже предвидя свой скорый уход из этого большого дома ради другой женщины и их ребёнка. Её переживания были столь велики, что она отказалась от пищи, похудела – не могла примириться с его уходом, везде чувала его запах. С трудом выносила хозяйку, её визгливый голос. Шушу всё в ней раздражало. А уж когда та кричала... Особенно в день ухода хозяина...

Но шло время и постепенно Шуша отучила хозяйку от крика. Если прежние нотки всё же проскальзывали, Шуша, вяло мотнув хвостом, уходила прочь и укладывалась в углу под батареей, всем своим видом выражая равнодушие и презрение к хозяйским крикам, напоминая о гнусном прошлом: «Аристократка, да? Ты, я вижу, иначе не при-выкла? Забыла, где тебя нашли?» Когда хозяйкин голос немного теплел, тон становился более просительным, Шуша выходила из укрытия, но ещё долго помнила обиду. Со временем, в отсутствии мужа и хозяина, они всё же как-то притерпелись друг к другу, как говорят в народе, и даже поладили.

Так и жили вдвоём, редко с кем-то общаясь. Хозяйка разговаривала с собакой, советовалась с ней, делилась наболевшим. Иногда заходила соседка, приносила продукты по заранее выдаваемому хозяйкой списку. Ненадолго задерживаясь, если предлагалось какое-либо угощение, она в тысячный раз выслушивала одну и ту же историю о тех заоблачных годах, когда хозяйка, в ту пору молодой специалист, не спрятавшись за спину состоятельных родителей, после окончания института поехала на периферию и честно отработала там положенное время. Эту историю, с разными вариациями, к которой всякий раз добавлялись всё новые и новые подробности, соседка знала уже наизусть. Сдерживая зевоту, она мучительно пыталась изображать заинтересованность, которая на деле была только в одном, и Шуша давно это просекла, – в страхе потерять побочный заработок. Шуша сочувствовала соседке: «Ну сколько раз можно выслушивать этот бред?» Даже ей, Шуше, часто снилась эта история и она могла бы повторить её слово в слово, если бы... Если бы могла говорить.

Иногда, крайне редко, у них появлялся хозяйкин двоюродный племянник со своей женой, в надежде когда-нибудь всё же получить значительное тёткино наследство. Наивный! Всё, на что он мог рассчитывать, были пустые красочные пластмассовые стаканчики из-под давным-давно съеденного йогурта, привезенного когда-то бывшим мужем из Германии. Тётка всякий раз дарила их *любимому* племяннику

при прощании. Во время визита, выдав им на угощение по половинке голубца – из приготовленных всё той же соседкой, тётка осведомлялась: «Правда, вкусненько поели и не обожрались?» И в этом случае Шуша была с ней вполне солидарна: «Нечего тут всяких нахлебников прикармливать!»

Вообще Шуша жалела хозяйку: «Как она постарела, опустилась. Чего стоят только круглые толстые резинки, поддерживающие эти вечно свисающие чулки и оставляющие на старом рыхлом теле следы в виде багровых рубцов, которые перед сном та расчёсывала до крови?» Вслушиваясь в её бормотание, в постоянные *если бы*, Шуша догадывалась, что хозяйка продолжает нескончаемый спор с мужем, ещё с кем-то, кого она, Шуша, не знала. И это было действительно так. Укладывая расплывшееся тело на подушки, кряхтя, та шептала: «Все. Все, кого я любила, предали меня. Умерли, оставили, ушли. Как они посмели оставить меня одну на этой земле, обречь на одиночество? Почему не убедили родить ребёнка, не сумели доказать, что ребёнок важнее карьеры, комфорта, собственного покоя? Так сложилось. Что с того, что она умеет отличить *мейсен* от *севра* или *копенгагена*? Семнадцатый век от девятнадцатого? – Её взгляд скользил по развешанным подлинникам и мерцающему антиквариату. – При всём желании, *всё это – не проесть*. Кому оставить? Ну не Шуше же, в самом деле? А почему не Шуше? Из всех только она одна оказалась единственной преданной и верной. А верность должна быть вознаграждена». Засыпая, она начинала жутко храпеть. Так и не привыкнув к хозяйскому храпу, Шуша уходила спать на кухню, но расстояние в четыре комнаты всё равно не спасало. Когда на следующее утро, сокрушаясь о бессонной ночи, хозяйка причитала: «Ну, ни на минуту не сомкнула глаз», то не выпавшая Шуша обрушивалась на неё с таким лаем, что соседи сверху начинали барабанить по трубам и, что приводило хозяйку в ярость: «Ну что, мерзавка, доигралась? Антисемитка! Ты что же, хочешь, чтобы нас вышвырнули отсюда? Сейчас же замолчи. У меня от тебя голова раскалывается». «Ой, можно подумать, у неё есть голова», – отгавкивалась Шуша, но замолкала, жалея хозяйку.

Но всё же, они были счастливы. Счастливы от сознания необходимости друг в друге. Совместная жизнь их была, в общем, размеренной и однообразной: нехитрое ведение дома, вечерние сериалы, которые Шуша обожала также, как и хозяйка, неизменные вечерние прогулки. Только в крайне редких случаях Шушу выгуливала соседка. В основном же, как бы плохо себя не чувствовала, как ни тяжело ей было ходить, хозяйка гуляла с собакой сама, даже зимой.

«Гулять, Шуша, гулять» – говорила хозяйка и та усаживалась у входной двери. Она наблюдала, как хозяйка с трудом натягивала сапоги, как тяжела старая каракулевая шуба. Одевшись и ярко накрасив губы, хозяйка набрасывала Шуше ошейник с поводком и, тщательно заперев обе двери, *родную* и вторую, стальную, вела собаку к лифту. На улице, гордо вышагивающая Шуша, с презрением смотрела на попадавшихся по пути бездомных собак. При встрече с хозяйскими псами она, вскинув голову и следя угловым зрением за произведенным ею впечатлением, проходила мимо. Но постаревшая Шуша уже давно не интересовала самцов, и они не только не рвались с поводков, но даже не твякали в её сторону. Уже давно никто из них не предлагал ей лапу и сердце. При встрече с псами бойцовских пород, Шуша останавливалась, с тоской глядя им вслед. Из её раскрытой пасти капала слюна и она сопротивлялась тянущему поводку. Когда же предмет страсти исчезал из виду, она, понурив голову, послушно следовала за хозяйкой. Состарившиеся женщина и собака, кружа по улицам, вели друг друга, обычно думая о своём, о сокровенном, что в сущности было одним и тем же: «Куда мы живём?... Куда? Только бы она не ушла раньше... Только бы не остаться совсем одной»... Но всё же, Шуша думала ещё и о сахарной косточке, дожидającej её дома.

Я НЕ ПОНРАВЛЮСЬ ВАМ

(Глава из повести «Сёстры». Предыдущие главы в альманахах «До и После» NN 8,9,10)

Погасить разразившийся скандал было невозможно. Шарлотта Максовна плакала, глотала капли:

– Ну в кого ты такая, скажи? Откуда в тебе столько жестокости? Как же ты могла? С собственной сестрой? Господи! Верх... Верх цинизма. Девочка моя, одумайся. Одумайся, прошу тебя. Ещё не поздно всё исправить, – умоляла она дочь.

– Поздно, мамуля. Поздно, – отмахивалась Светлана.

– Но почему? Почему? – Не успокаивалась мать. – Ты можешь мне объяснить, почему из всех молодых людей ты выбрала именно Марьяниного? Не молчи.

– Почему? Да потому, что мне так хочется. Я люблю его, ясно? Я так хочу и хватит об этом. Мы поженимся.

– Любишь? Разве ты умеешь любить? Как ты не понимаешь, что кроме глагола хочу есть ещё и должна.

– Ха-ха-ха! Ну и рассмешила, – хохотала Света. – Всё, довольно. Я устала от твоих вопросов и нравоучений. Устала, слышишь? Иди к себе и оставь меня в покое.

Уже стоя в дверях и сокрушённо глядя на дочь, Шарлотта Максовна сказала:

– Хорошо, я больше не стану учить тебя, как следует жить. Когда-нибудь ты пожалеешь, что так поступила с сестрой. Ты вспомнишь этот разговор, но будет поздно. А что касается этого мерзавца... Он смог так поступить с Марьяной... Сможет так же обойтись и с тобой, запомни это.

– Ты ошибаешься, дорогая мамочка! Бросать – моя привилегия. Так что, не пугай. Я не из пугливых.

Предпринимаемые матерью попытки поговорить с Марьяной также ни к чему не привели. Не проронив на людях ни единой слезы, та лишь односложно отвечала:

– Так сложилось. Не волнуйся, мама. Всё будет хорошо, вот увидишь. Я обещаю.

Но это напускное спокойствие не могло обмануть мать: «Боже мой! Боже мой! Что же будет с девочкой?»

– А ты, как всегда в стороне? – обрушивалась она на мужа.

Однако, Михаил Осипович вовсе не был сторонним наблюдателем и по-своему переживал конфликт. Он любил своих девочек, каждая была дорога его сердцу, и он искал оправдание, пытался понять Свету:

– Зачем тебе это? Неужели ты так сильно его любишь? Ну скажи, разве у тебя много сестёр?

– Вы надоели мне. Надоели, – кричала *любимая* дочь в ответ и, хлопнув дверью, уходила.

На самом деле она не так уж сильно была влюблена. Но неумолимое желание завладеть понравившейся *игрушкой*, отобрать её у сестры, решило всё. Существование красивого парня у Марьяны раздражало, злило и толкало к действиям, которые не заставили себя ждать. Даже у неё, Светы, не было такого красавца, который достался этой *курице*. Кроме того, была ещё одна причина, о которой никто не догадывался, не считая Леонида: Светлана была беременна. А вот что с этим делать, она пока не знала. В её, далеко идущие планы на будущее, совсем не вписывалось столь раннее материнство. Одно было ясно: замуж и побыстрее.

Подготовка к свадьбе прошла как-то сумбурно. Собственно, и свадьбы-то, как таковой, не было. Обычная домашняя вечеринка для самых близких. Узнав о Светином положении, родители уже не противились браку дочери и не надеялись на окончание игры, в которую заигралась дочь. Это сначала им показалось, что насладившись главной ролью – ролью царевны, она остынет и откажется от своего замысла. Реальность оказалась иной.

Было решено, что молодые поселятся у них, так как Светлана совсем не общалась с матерью Леонида, не одобрявшей выбор сына. К тому же, Света не собиралась *уступать* сестре трёхкомнатную, улучшенного типа, квартиру – ведь родители же не вечны. Иногда в своих, не высказанных вслух, мыслях Светлана действительно доходила до верха цинизма.

Марьяна же, как ни странно, принимала участие в подготовке к свадьбе. Создавая видимость хорошего настроения, она всё время что-то напевала. Обычно немногословная, болтала без умолку. Но так уж устроена жизнь – всё что не искренне, то фальшиво. Драма её ни для кого не была тайной. Но она старалась держать себя в руках, не расслабляться: «Кто дал ей право выставлять на всеобщее обозрение свою боль?» Но по ночам, уткнувшись в подушку, она плакала и скулила по-собачьи, чтобы никто не услышал её рыданий. Просила Бога, дать ей силы выдержать, остаться гордой. Шептала: «Сойдёт, сойдёт пена. Всё будет хорошо. Хорошо». Душевные страдания дочери не могли укрыться от матери, и сердце Шарлотты Максовны разрывалось от жалости. Она так и не простила Леониду его предательства и никогда в будущем не ответила ни на одно его приветствие.

Поселившись в доме жены, молодой муж, вначале мучительно страдал, особенно, сталкиваясь с Марьяной. Двусмысленность создавшегося положения была очевидна. Лишний раз старался не попадаться на глаза теще и норовил побыстрее скрыться в своей комнате. В самом начале семейной жизни, в силу этих причин, Леонид, что называется, был тише воды, ниже травы. Он был очень податлив, и Света, словно из теста, *лепила* из него, всё, что вздумается. Он не имел права на собственное мнение – оно всегда должно было совпадать с её. Обычно в таких случаях говорят: «Входит со своим мнением – а выходит с мнением жены».

Они ходили только в те магазины, которые интересовали Свету. Бродили по тем улицам, которые любила она. Во всём ощущался её диктат. Он не мог уйти куда-либо один, не поставив её в известность.

Она раздражалась, если он хотел повидаться с матерью, ведь та даже не пришла на их свадьбу. Ограждала его от встреч с друзьями. Всё это вызывало в нём внутренний протест, до поры тщательно скрываемый. Он прощал ей хандру, выслушивал бесконечные жалобы, относя всё это к издержкам беременности.

Молодую жену по-прежнему все обслуживали: «Светочка ждёт ребёнка». И Светочка не желала поступаться ни своими привычками, ни комфортом. Ей и в голову не приходило, что нужно утром встать пораньше, приготовить завтрак и проводить мужа на работу. «Возьми себе там что-нибудь» или «Придумай сам, что поесть, жутко хочется спать» – слова, которые он обычно слышал от жены и к которым со временем привык. И он *придумывал*, старался побыстрее проглотить яичницу и выпить кофе, пока кто-либо из домашних не появился на кухне. По выходным же он подавал кофе Светлане в постель. И самое любопытное, что подобное положение вещей её абсолютно устраивало. Единственным наслаждением и заботой, от чего она *ловила кайф*, была примерка новых шмоток. Иногда казалось, что она просто сходит с ума, покупая, меняя и перепродавая наряды. Теперь деньги на обновления она вытягивала не только из родителей, но и из мужа, заработная плата которого на заводе была довольно приличной. У неё были свои комплексы – мнимые изъяны касающиеся внешности, и она восполняла их бесконечной *сменой декораций*. А вообще, она была равнодушна ко всему, и ничто, кроме неё самой, её не волновало, даже предстоящее рождение ребёнка.

Нетрудно догадаться, что взаимоотношения между сёстрами не только не улучшились, но стали ещё более сложными. При всей внешней сдержанности со стороны Марьяны, иногда казалось, что они достигали накала. Шаткий дом, покоящийся на фундаменте изъеденном антагонизмом, создаваемым Светланой с детства, вот-вот готов был опрокинуться. Дом – это не стены, *дом – это люди*. Умён ты, добр или глуп – дома ты гол, прост, понятен для близких, словно под лучами рентгена. Дом тёплый и счастливый способен тебя согреть, спасти. Это твой тыл, где ты легко можешь расслабиться, укрыться от всего внешнего и наносного. Как ни странно, но дома ты и легко уязвим. И этот же дом способен тебя измучить, стать свидетелем твоих страданий. Их *дом* ещё стоял, но уже сильно раскачивался, готовый в любой момент рассыпаться, как картонный домик.

Если бы кто-либо сказал Светлане, что она мучает сестру, она бы удивилась: «Она не любит Марьяну? Какой вздор. Нелепость». Возмож-

но, это действительно была одна из форм любви, но любви собственной, деспотичной, властной, не терпящей возражений. Будучи рабой своего характера, ей трудно было идти на какой либо компромисс и иногда она сама страдала от этого. Она не чувствовала за собой никакой вины перед сестрой: «Она отняла у неё любимого?»

– Солнце моё! Не зацикливайся на нём. Подумаешь, делов куча! Просто мы с тобой – говорила она сестре – проверили его на *вишивость*, понимаешь, то есть на мне? Ну скажи, зачем тебе мужик, готовый сбегать к другой? Тебе это надо? Ты же совершенно не приспособлена к отношениям с мужчинами. А так, ты приобрела некоторый опыт. И хорошо, что это произошло благодаря мне. Да если хочешь знать, я тебя спасла, дурёха! И скажу тебе по секрету – жалеть-то особо не о чем. Ну, ты понимаешь? Я имею в виду его мужские достоинства. Да пойми, наконец, чего бы женщина не искала в мужчине, она никогда это не находит. Посмотри только на мой живот – какая гадость! Со всем испоганил мне фигуру. И не дуйся! Всё будет – О' кеу. – И тут же с ошеломляющей откровенностью рассказывала об интимной стороне своей личной жизни, совершенно шокируя сестру:

– Замолчи! Я не могу тебя больше слушать. Как ты можешь? Твой цинизм действительно не имеет границ. Ты?! Ты же говоришь о собственном муже, о будущем ребёнке. Ребёнке!!... Ведь есть же какие-то святыне вещи, о которых нельзя так грязно судить. И не понимать этого? Ты хоть сама-то себя слышишь? К чему это притворство, лицемерие?

– Что?! Выходит, я – лицемерка? Я, а не вы все вокруг? Замечательно! Нет, дорогая моя! Это вы все – лицемеры и лжецы. Всегда думаете – одно, а говорите – противоположное. Порой даже себе боитесь признаться в собственных мыслях, не говоря уже о грехах. Так кто же из нас притворяется? Я хоть называю вещи своими именами.

Под натиском сестры, в полном замешательстве, Марьяна отступала, не видя смысла в продолжении спора.

Рождение дочери ничего не изменило в жизни Светланы. Девочку, белолицую и черноглазую, с длинными чёрными волосами, похожую на японку, назвали Алиной. Когда Марьяна увидела племянницу – сердце её словно растопилось. Взяв на руки эту кроху, этот живой комочек, впервые за прошедшие месяцы она ощутила покой. Её большие глаза наполнились слезами:

– Алюша! Ясное солнышко! Как же я тебя люблю.

- Ой, ой! Смотрите, какие нежности. – Света забрала дочь у сестры.
- Насмотришься ещё, мне кормить её надо.
- Ну конечно, конечно. Кушать. Мы хотим кушать. Да, любумочка?
- сюсюкала Марьяна над девочкой.

Племянница что-то незримо изменила в Марьяне. Как будто некто передвинул какие-то стрелки, сместил акценты – она принялась вовсю помогать: «Ведь это не для Светы, для – Алюши».

Чтобы освободить вечера, перевелась на заочный факультет в институте. С работы мчалась домой, точно к собственному ребёнку. Светлана восприняла это, как должное, но не преминула напомнить сестре:

- Не забывайся. Она – всё-таки моя дочь.

Но какое это имело значение? Ради малышки она готова была даже как-то мягче реагировать на Леонида, и ему показалось, что она с лёгкостью перестроилась на другой спектр их отношений. Постепенно и его неловкость стала исчезать.

Успокоилась и Шарлотта Максовна: «Слава Богу! Девочка оттаяла».

Обычно, приходя с работы, Марьяна выходила с племянницей на улицу. Возвратившись с прогулки, купала девочку и приносила её Свете для кормления. Потом перестирывала за день собравшиеся пелёнки, которые утром, до работы, успевала погладить.

Она видела, что мать из эгоистичной сестры никакая. Светлана не любила гулять с ребёнком на улице, и днём выставляла коляску на балкон: «Такой же свежий воздух, ничуть не хуже. Тащиться куда-то с коляской? Ещё чего? Однажды натаскалась уже. Вниз спустилась на лифте, а обратно на девятый этаж пёрла её на себе – лифт как всегда сломался. Нет уж, увольте»... Кроме того, пока дочь спала, она сама любила поспать или просто поваляться на диване с очередным романом.

Она могла, не покормив ребёнка, выскочить на полчаса в универмаг и застрять там, в очереди за сапогами, на полдня. Возвратившись, наконец, домой с обновкой и застав посиневшую от крика дочь и находящуюся в панике и полубморочном состоянии мать, она, как ни в чём не бывало, спрашивала:

– Ну? И чего разорались? Мамочка уже пришла. Сейчас, сейчас покормлю своё сокровище. – И тут же, натянув на ноги сапоги, продолжала крутиться перед зеркалом и орущей дочерью. – Глупое создание! Мамочка подсуежилась и такие сапожки отхватила? А? Видишь, какая мамочка *вся из себя?*

Не выдерживая больше это зрелище и держась за сердце, Шарлотта Максовна уходила к себе:

– Что за мать? Ну что за мать? – сокрушалась она.

– Голодненький, да? Масик мой! Ну иди, иди к мамочке, – наконец, брала Света на руки дочь. Девочка чмокала, собрав губы в комочек, искала материнскую грудь и, не находя её, обиженно кривила личико в гримасе плача.

– Да покормишь ты, в конце-то концов, ребёнка? – кричала Шарлотта Максовна из своей комнаты. – Тебя надо лишить материнства, ты не мать, ты хуже всякой мачехи. Господи! Нет сил видеть всё это изо дня в день. – И на несколько дней она оставалась выбитой из привычного ритма жизни.

У Светланы же была своя методика воспитания дочери, и ничто не могло сдвинуть её с этой позиции. Как-то, придя с работы, Марьяна спросила сестру:

– Что случилось, Света? Почему Алюша охрипла?

– Это что ещё за вопрос, а? Мне кажется, ты вообразила себя её матерью? Для начала – роди, потом будешь командовать и вопросы задавать.

– Что всё-таки произошло? Ты не гуляла с ней... В доме тепло...

– Да она к ней целый день не подходила. И меня не подпускала. Вот она и прокричала весь день. У неё наверное болел животик и нужно было всего лишь взять её на руки и немного походить с ней. Так этот *салдафон* в юбке подходил к ребёнку в строго отведённые для кормления часы. Это невыносимо. Я так больше не могу, просто буду убегать из дому. Видите ли: «Пусть скажет спасибо, что она её вообще кормит». Ну как вам это нравится? – не могла успокоиться Шарлотта Максовна.

По ночам плач ребёнка тоже не мог поднять Свету с постели. «Покорми её, и она уснёт», – просил Леонид. «Пусть покричит. Она должна знать, что ночь существует для сна», – отвечала *мамаша* и поворачивалась на другой бок. И Леонид вставал, давал дочери немного воды и, успокоившись, ребёнок засыпал. Иногда в дверь скреблась Марьяна, забирала у него девочку и уносила её к себе: «Поспи, поспи. Тебе же рано утром на работу», – говорила она ему.

Как будто ей также не нужно было утром на работу. Те, кто плохо знал Марьяну, мог подумать, что это жертва с её стороны. Но на самом деле, её обиды и надежды как-то незаметно трансформировались во всепрощение. Она – любила. Только любовь её становилась другой,

приобретала иное качество. И Марьяна прекрасно отдавала себе отчёт в том, что не только любовь к ребёнку заставляет её так поступать. Что, подсознательно, она многое делает ради него. В её жизни наступил новый, почти счастливый период – на всех хватало времени и любви. И дело даже не в том, что она делала за день массу всего, при этом работая и иногда заглядывая в учебники. Просто, каждый день она проживала, как праздник. Физическая усталость радовала её. Во всяком случае, она была утешительной мыслью, которые всё же, с упорством компасной стрелки, возвращали её к прошлому. Она часто думала, что если у неё когда-нибудь будут свои дети, то она всё равно не сможет любить их больше, чем Алёшу. И только Светлана оставалась равнодушной к бескорыстной помощи сестры, считая Марьяну надоедливой и навязчивой с её преданностью.

Перед Новым Годом неожиданно умер Михаил Осипович. Это был страшный удар для всей семьи. Прошедший войну и познавший все тяготы послевоенной жизни, он работал до последнего дня, не мысля себя без работы. В принципе, все они, и жена, и дочери, как говорят: «Были за ним, как за каменной стеной». Последнее время, чувствуя себя неважно, он не соглашался оставить работу, несмотря на постоянные просьбы жены: «Миша, ну сколько ты будешь *бегать*? Ведь – возраст. Пора подумать в конце концов о себе, отдохнуть». Но он продолжал *бегать* и говорил: «Пока бегу – живу. Главное – здоровье, остальное – мы купим. Не дрейфь, Лётик! Пробьёмся!»

Не пробился.



* * *

Подумалось: «*Настал мой час*», –
Слова сплелись в рифмованную завязь.
О, нет! Не отведу я глаз
Пред взорами – в них притаилась зависть.

Я принимаю этот дар.
Не думайте – не льщу себя Поэтом.
Но искру, высекшую жар,
Благодарю, пока живу, за это.

* * *

Захмелевшее лето в разгаре –
Мёда аромат.
И летит наша жизнь, как в угаре, –
В Рай? А может, в Ад?

На душе то страшно, то сладостно.
Среди бела дня
Убегают куда-то радости,
Дальше от меня.

Как достичь желаемой пристани?
Наяву? Во сне?
И познать наконец-то истину? –
Расскажите мне.

* * *

Обрываю стихотворенье –
Рассыпаются мысли.
Зачем копить сожаления
О стихах? Или жизни?

Что проку в рифмованных строчках? –
Пустое. Пустое.
Череда сплошных многоточий
Окунает в былое.

* * *

Когда устану я тебя любить
И изживу в себе все бедствия,
То постараюсь обо всём забыть.
В душе оставляю только детство я.

Придумаю я новые слова.
И далью прежнее покажется.
Закончится последняя глава.
И мысли новизною свяжутся.

* * *

Ты помнишь, небо голубело
У нас с тобой над головой?
И всё внутри нас пело, пело,
Вдаль увлекая за собой.

Но необъятной оказалась
Бескрайняя голубизна.
И под ногами закачалась
Земля, достигнувшая дна.

* * *

Я никогда не захочу тебя увидеть.
Не лсти себя надеждой. Никогда.
Не расцветут уже Сады Семирамиды,
В душе, где поселились холода.

Не знаю, сколько лет иль дней ещё осталось
Мне без тебя прожить? Дышать суметь?
Я ничего не жду. Оставь мне только малость,
Чтоб этим до конца переболеть.

* * *

Фонарь, устав от электрического света,
Погас.
Стал День. И явь, опять забрезжившая где-то,
Тотчас.

И смутный сон расстаться с темнотою ночи
Успел.
Но с ощущением Эроса, таким порочным,
Не смел.

И долгий, опьяневший день состарен даром
Страсти.
В ликующую ночь с её желанным жаром
Пасть бы.

И день и ночь в плену друг друга. В едином танце –
Тени.
Избранники кипящих бездн слагают стансы –
Плену.



АЛЬБЕРТ ЛЕИН

* * *

Стихи, как сны – бельё души,
Не торопись поэт показом,
И двери чувства не спеши
Открыть завистливому глазу.

Но если ты уж снизошёл
В людскую суетность привычек,
Не забывай – ты не обычен –
Средь воронья степной орёл.

Пусть неприятье ты простил,
Но не изменит пусть отличие
Неусечённость взмаха крыл
И духа гордое величие.

ДРУЗЬЯМ

Уже не те запасы сил,
Матрос, я выброшен на сушу,
И еду в стареньком такси
Моей судьбы и равнодушья.

Бесправен я, как пассажир,
Всё от водителя зависит,

Воспоминаний багажи,
Как в сумке почтальона письма.

От лет затёрты адреса,
Измяты старые конверты,
Моих поступков голоса,
Сошедшие с магнитоленты.

Друзья! Морщинам вопреки,
Я называю вас «ребята»,
Мы обращались: «старики»
В тех временах, мечтой богатых.

Мечту отпугивает жизнь
Нелепостью и отговоркой,
Там не совьют гнездо стрижи,
Где вёсны зимаю не вдгонку.

Друзья, ребята, «старики»!
Что было, есть, - всё нам по чину,
На сбор, как раньше, мы легки,
Как после отпуска мужчины.

Стерев вопросами пятно –
Чем каждый был в годах разменен,
Мы выпьем лучшее вино,
К судьбе претензий не имея.

Как после вызленности волн
Суда приходят в порт приписки,
Мы демонстрируем закон:
Быть в дружбе родственником близким.

Всем удивленьям вопреки,
Разлукам, слухам, недомолвкам,
Мы, как и прежде, моряки,
Уставшие морские волки.

* * *

Светланушке

Тебе ещё один пишу сонет
Без обязательств или обещаний,
Когда тебя со мною рядом нет –
И праздники скудеют и нищают.

Ты рядом и добрее целый свет,
Клеветников и недругов прощаю,
В который раз мечтою обольщаюсь,
Что ложь – сиюминутности момент.

Ты вышла и тускнеет свежесть роз,
Ты возвратилась – роз чарует свежесть.
И страшно мне становится порой,
Как прозябав, дышал я в жизни прежней.

Мне не нужны другие адреса
Благодарить за счастье небеса.

* * *

День в наручниках вечера,
В казематах ночи,
Порция человечины
В Освенцима печи.

Океаны так волнами
Бьются о берега
Поколеньями новыми
В поколений веках.

Постоянство изменами,
Будто временный снег,

То распухшими венами,
То пропажею рек.

Над крестами мгновения
Те же ветры и свет...
В чередѣ повторения
Одинаковость лет.

* * *

Небытья гребѣт лопатой
Вечность, судьбами играя,
В крематории заката
Дня останки догорают.

Представление печали
И зловещности утрюмой,
Вороньѣ опять кричало
В чѣрных траурных костюмах.

Месяц в облака огранке
На груди ночи алмазом
Для далѣких звѣзд приманкой,
Для людей забытый праздник.

Промелькнувших дней игрушка
Яркой пуговицей детства,
Крик совы – ночной кукушки –
Смерть для жизни, как наследство.

Месяц облако качает,
Ночь горит звѣздопожаром,
Ах, как вороны кричали,
Дня останки провожая.

* * *

Не своих грехов, чужих
Я рюкзак взвалил на плечи,
Я судьбы змейёй отмечен
Ядовитить свою жизнь.

Дней пугают виражи,
Вижу, как фальшивят свечи,
Подлость чья-то всех калечит,
Чей-то грех на всех лежит.

Мы не ангелы, мы – люди,
С покаяньем не спешим,
Отчуждения запруды
В откровениях глуши.

Не смиренъем каждый судит,
А воинственностью лжи.

* * *

Всё что есть – есть наша жизнь:
И предательства, измены,
От назойливости лжи
Кровь скудеет в наших венах.

Спит мечта о переменах,
День в привычности бежит.
И бессонниц-мыслей сено –
Липкой зависти ужи.

Все мы узники тюрьмы
Непридуманности сводов,
Бог един для всех народов
В переплетанности тьмы.

В разноплеменной крови –
Бог единственный – Любви.

* * *

Усталость снимает ботинки,
Кольцо обязательств, долгов,
Я раненный милой улыбкой
Рассветности ваших стихов.

Алмазная россыпь одежды
И вязь виноградная слов,
И в зеркале мыслей мятежность
Привычек разбила стекло.

Внимая вниманью мгновенья
Застыл в удивлении дождь,
Радовались стихотворенью
Портреты великих вельмож.

И вдруг провулканились звуки
Разбитой тиши хрустала...
Дождя одиночества руки.
К себе возвратившийся я.

* * *

Зимний день не особый,
Обречённость на нём,
Бородавки сугробов –
Зимний металлолом.

Утомлённая гордость
С белым флагом вины,

В ночь пробившийся город,
Как в бессонницу сны.

В суете эпидемий,
В обещаний узлах
Собираются тени
Девками на углах.

Тишиною разрезан
В нежелательность встреч
Город будто в болезни
Небозвёздности плеч.

И в запутанность улиц,
И в карман площадей,
Как потерянность пули
Хрип: «Мне тоже налей!»

* * *

Я узнавал твоих шагов
Вечерней праздничности шёпот,
Когда разлук холодный опыт
Не приносил для встреч цветов.

Когда не смелостью предчувствий,
Не осознав восторга явь,
Я понял: праздника без грусти
Во всём нет мире бытия.

Быстрогогораемости встреч
И обострённой боль разлуки,
Когда ты сбрасываешь с плеч
Уюта заспанные руки.

И ожиданий, и надежд
Я пил вина обмана горечь,
Больные нервы разговора,
Вопроса даль: «когда и где».

* * *

Полярная ночища на земле,
залив свинцовый в соли листопада,
Готовность в море выйти кораблей,
Их повседневность гордая парада.

Обмануты романтикой юнцы,
Мы хлоркой вытравили свежесть гюйса,
Тупого патриотства образцы,
Не сомневались в правильности курса.

Полярная ночища отошла,
Прозрение с весною наступило,
Свинцовистая высветилась мгла,
Взросленье наше зимним отбелило.

Промучась ностальгией к кораблям,
Мы прозревали и выросли дальше.
Полярная ночища и земля
Остались неизменностью вчерашней.

* * *

Дни в сауне бесснежья отпотели...
Прорвались в стружках снега небеса.
Я заболел тоскою в понедельник
По летнему движенью колеса.

По чистоте озёрности глазастой.
По пению безумных соловьёв.
И по громам от молний заикастых,
Когда немеет даже вороньё.

Без остановок мчится скорый поезд
Моих секунд, вопросов неуют.
Редчайшая есть разновидность боли,
Когда слезам излиться не дают.

И, как всегда, пьянея ожиданьем
О летних днях, когда зима молчит,
Болею я тоскою провожанья.
Летят секунды – времени грачи.

* * *

Папахи из каракуля снегов
С достоинствами древних аксакалов
Венчают головы кавказских гор,
Несущие себя над облаками.

Никто не извинился, не простил,
Гусарство не показывает спины,
Дрожаще пистолетствует Мартынов
И пропасти дыхание в затылок,
О, Господи! От выстрелов спаси!

Потом лишь осознали на Руси
Какую жизнь тогда увековечил
Тот выстрел. Зажигались звёзды-свечи
И бурку скорби на Кавказа плечи
Накинул неба траурный массив.

В день выстрела который год подряд
Несут цветы к подножию Кавказа.
Мечеть вдали с умолкнувшим намазом

И грот в скале, как Полифем безглазый,
И в чёрном цвете лист календаря.

* * *

Мысли, словно вороны,
Дней дрожит пожар,
На лице у города
Оспа дождя.

Парки обезлиственны,
Небо в пепле туч,
Пробегают лисами
Ветры по мосту.

Город пробетховенный,
Разлохмачен вдрызг,
Камнями окованный
Берега карниз.

Тычутся котятми
Лодки о причал,
Дождь тоской растянутой
На земли плечах.

* * *

Парад окончен, утомленье
Отплёвывается на плакат,
Отраспалилось вдохновение
От ленинского броневика.

От всех времён, как чаевыми,
От хамства, маузеров, штыков
Расплачиваются мостовые
Валютой на которой кровь.

КАРЛ АБРАГАМ

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

На одной лестничной площадке с нами живёт замечательная пара, Свен и Матильда Фогт. Как говорили в старину, мы дружим домами. Он в прошлом электрик, она – домохозяйка. Свен – мастер на все руки: стоит только заикнуться, что у нас возникли какие-то технические проблемы, как он тут же приходит и устраняет неисправность. Соседям моим за семьдесят, но выглядят они значительно моложе. Он – подтянутый, высокий, элегантный, с пышной шевелюрой, абсолютно седой, и она подстасть ему – чуть полноватая, с аккуратно уложенной причёской, умеренно пользующаяся косметикой, со вкусом одетая, всегда приветливая – они прекрасно дополняют друг друга. Про таких говорят, – красивая пара. Иногда, когда Свен уезжает навестить своего брата, она заходит к нам просто так, чтобы поболтать. И вот, что она однажды рассказала:

– Мои родители Тина и Вилли Шмидт венчаны в церкви святого Августина 12 февраля 1932 года. При бракосочетании они обменялись обручальными кольцами, на которых были выгравированы их инициалы и год венчания. Через год появилась на свет я, а в 1938 году – мой брат Хельмут. Отец был краснодеревщиком, мама – домохозяйкой. С приходом Гитлера к власти папа вступил в партию: так легче было устроиться на работу. В 1941 году его призвали в армию. Он сразу же попал на Восточный фронт. Письма писал редко. Помню только, что в конце сорок второго года мы получили от него коротенькое письмо, в котором он сообщал, что обморозил пальцы ног. Мама собрала посылку к Рождеству и кроме тёплых вещей положила туда сигареты и испечённый ею пирог. Мы так никогда и не узнали, получил папа посылку, или нет. Годы сорок второй и сорок третий принесли нам массу горя. Все несчастья навалились на маму сразу.

Сперва умерла моя тётя, мамина сестра, бывшая всего лишь на два

года старше мамы. Умерла у мамы на руках. У тёти был порок сердца. Она не должна была пить много воды. Дядя Фриц – её муж, постоянно бывавший в командировках, в дальнейшем постоянно упрекал маму: «Это ты во всём виновата, это ты опоила её водой, это ты загнала её в могилу».

Следующим испытанием был вызов мамы в гестапо. Обратив внимание на мой недоумённый взгляд, Матильда продолжала: – В сорок третьем в Берлин стали прибывать депортированные семьи из Белоруссии. Их селили в бараках на Кнобельсдорфштрассе. А мы жили рядом, на Бисмаркштрассе. Взрослые работали у Сименса, а дети их были предоставлены самим себе. Однажды мама, выходя из булочной, обратила внимание на стоящего у двери маленького, худенького, плохо одетого мальчугана с грустными глазами. Он ничего не просил, он просто стоял и провожал взглядом каждого выходящего из лавки, и не столько его, сколько свёрток, который тот уносил с собой. Мама подала ему булочку и пошла прочь. В ответ она услышала иноземное «Дзякую». Кто-то донёс на маму. Своё посещение местного отделения гестапо она запомнила на всю жизнь. Её принял холёный, отлично выглядевший офицер. Говорил он вежливо и тихо, но то, что он говорил, имело самый зловещий смысл: «Вы отдали булку врагу, с которым мы ведём непримиримую борьбу. По-моему, фюрер чётко высказался по поводу этих недочеловеков. Или нет?». Мама молчала. «Я не слышу», – повысил голос гестаповец. «Да», – чуть слышно сказала мама. – «Таким, как вы, место в концлагере, а вашим детям – в приюте. Ваше счастье, что ваш муж на фронте, и что он член партии. Считайте, что вам повезло. Я вас отпускаю, и не вздумайте попасть сюда во второй раз».

Где-то в середине лета сорок третьего в дом пришла похоронка на папу. Мама долго плакала; нет, не плакала, а, скорее, выла, как воеет смертельно раненный зверь и всё время повторяла: «Это неправда, Вилли вернётся, этого не может быть». Было ей в то время 32 года. Мама как-то сразу постарела, перестала за собой следить, одним словом, опустилась. Если я спрашивала: «у тебя что-то болит?», она отвечала: «душа». В сорок четвёртом участились бомбардировки города. Мама в бомбоубежище намеренно не спускалась, а мы, дети, оставались при ней, не смея оставить её одну. Так и пережили войну. Дом наш каким-то чудом уцелел.

В августе сорок пятого почтальон принёс письмо, в котором сообщалось, что наш папа, Вилли Шмидт, в русском плену, и что он придет в Берлин с эшелонам раненых в начале сентября; о точной дате

прибытия нам будет сообщено дополнительно. Мама преобразилась, потухший было взгляд её вновь обрёл естественный блеск. Она наводила в квартире порядок, всё перестирала, перегладила, снова стала энергичной и подтянутой: «Я говорила, дети, что отец наш вернётся, что похоронка – это какая-то ошибка, недоразумение».

В тот день мы встали рано. Было холодно, моросил дождь, за окном шелестела осень. Добирались к вокзалу с тремя пересадками. От здания вокзала, кроме портала, по существу, ничего не осталось. Территория его была обнесена забором. Привокзальная площадь оказалась заполненной людьми. Голов не видно, одни зонты. Передвигаться в этой массе было не просто. Кое-кто находил знакомых и беседовал в ожидании поезда. Когда эшелон с ранеными прибыл, толпу встречающих качнуло к воротам, у которых стояли двое полицейских. Выпускали по одному. Люди с трудом узнавали друг друга. Измождённые, исхудавшие, давно не бритые мужчины с трудом переставляли ноги. Некоторые передвигались на костылях, а были и такие, которых несли на носилках. Люди плакали, смеялись, истерично кричали, узнавая мужей, сыновей, братьев. Пусть раненые, пусть увечные, но живые! Это была радость, радость возвращения на родину. Поток раненых заметно уменьшился, а папа наш так и не появлялся. Вот уже и последние из эшелона покинули территорию вокзала. И тут мама подошла к одному из солдат, которого никто не встречал: «Скажите, вы не видели моего мужа?» – «А кто ваш муж?» – «Ну как же, его зовут Вилли, фамилия Шмидт». Солдат задумался: «Был у нас в батальоне один Шмидт, но того звали Георг. Впрочем, что я говорю, его же убило ещё год назад». Позднее выяснилось, что ещё один Вилли Шмидт жил по той же улице, что и мы, но тремя домами дальше. Такие ошибки в доставке почты не были исключением, т.к. нумерация домов почти нигде не сохранилась.

События тех дней окончательно сломили маму. Она перестала есть, отказывалась от воды, не могла спать и скоро попала в психиатрическую лечебницу. Мы часто слышали от неё: «я не хочу больше жить», и в то же время, она до конца дней своих не переставала надеяться, что отец наш вернётся. В надежде узнать хоть что-нибудь о своём муже, она не пропускала ни одного выступления бывших фронтовиков по радио, писала запросы в совет ветеранов, позднее внимательно смотрела по телевизору передачи, посвящённые минувшей войне, особенно, русскую кинохронику. Она всматривалась в лица немецких солдат, попавших в плен, пытаясь обнаружить среди них своего

Вилли. С каждым годом состояние её ухудшалось. К чувству глубокой подавленности присоединились слуховые, а затем и зрительные галлюцинации. Однажды ночью мы были разбужены маминым криком. Она стояла у открытого окна в одной рубашке и говорила в ночь: «Сейчас, Вилли, я открою тебе. Я знала, что ты вернёшься». Затем, накинув халат, мама пошла к двери, открыла её и пригласила отца в дом: «Заходи, мой милый!» Лестничная площадка ответила ей глухой темнотой. Если раньше она попадала в больницу раз в три года, то теперь – почти ежегодно. В 1955 году, когда Аденауэр вернул на родину всех военнопленных, мама выходила к каждому поезду, прибывавшему в Берлин, в надежде встретить своего мужа. Она металась среди бывших солдат и офицеров, трогала, а то и дёргала их за рукав и спрашивала то одного, то другого, то третьего: «Вы не видели моего мужа?» Толпа молча обтекала маму, не обращая на неё внимания. Она ждала до последнего, пока не оставалась одна на опустевшем перроне. И так до следующего раза.

Мама умерла 69 лет от роду от воспаления лёгких. Умирала тихо, без стонов и жалоб. За несколько минут до смерти она сняла с руки обручальное кольцо и протянула его мне: «Возьми и никому не отдавай. Увидишь, папа вернётся. Слышишь, никому, он вер...» Конец фразы утас вместе с мамой. Глубокий вдох, и глаза её закрылись.

Похоронена мама в Штеглице, на большом кладбище, что по Бергштрассе. Мы со Свеном ухаживаем за могилой и часто вспоминаем нашу несчастную маму, которая так и не дождалась своего мужа». Матильда умолкла. Наступила неловкая тишина, тишина, при которой любая реплика или замечание звучат фальшиво. Стало темнеть. Через некоторое время соседка прервала молчание и продолжила своё повествование, но уже в другом ключе: «А знаете, папа мой действительно вернулся, правда в несколько ином образе.

Через 18 лет после маминой кончины я получила извещение, в котором мне предлагалось явиться на почту за получением бандероли, оцененной в 500 немецких марок. Я терялась в догадках, что бы это могло быть, ведь я ни у кого ничего не заказывала. Вместе с мужем мы на следующий день пошли на почту. Нетерпение моё было столь велико, что я тут же при выдаче вскрыла бандероль. В ней оказалось письмо от «Немецкого общества по охране военных захоронений» и кольцо с гравировкой по внутренней поверхности «Т. Ш. 32». Я сразу поняла, что это обручальное кольцо отца с инициалами моей матери Тины Шмидт. В письме сообщалось, что при перезахоронении

останков немецких солдат у села Россошка, Волгоградской области было обнаружено золотое кольцо, лежавшее рядом с медальоном погибшего. По номеру была установлена личность солдата. Им оказался житель Берлина Вилли Шмидт 1911 года рождения. Удалось также выяснить, что владелец кольца был обручён с Тиной Шмидт. Так как вдова погибшего умерла в 1980 году, то кольцо по наследству переходит к дочери.

Теперь оба кольца лежат рядом в чёрной бархатной шкатулке на видном месте в серванте. А рядом с кольцами – фотографии моих родителей Тины и Вилли Шмидт».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Два года тому назад мои соседи отметили золотую свадьбу. Как и положено, после свадьбы Свен с Матильдой отправились в путешествие. Я-то думал, что «молодожёны» поедут в какую-нибудь экзотическую страну, скажем, на Мальдивы или на остров Пасхи. «Ошибаетесь, – возразила соседка, – мы едем в Россию провести моего папу». Через месяц они вернулись, и мы пригласили их к себе. Вот что рассказала Матильда о путешествии в Россию: «Мы побывали в Санкт-Петербурге, Москве, а затем поездом отправились в Волгоград. Остановились в гостинице. На другой день взяли такси и поехали в Россошку. От Волгограда до места ехали минут сорок. От самой деревеньки почти ничего не осталось. Всё смела война. Рядом с русским военно-мемориальным кладбищем со скульптурой «Скорбящей» в центре находится немецкое собирательное кладбище. Здесь установлены около 140 полированных гранитных кубов высотой в полтора метра, на каждом из которых высечены имя, фамилия и дата рождения девятист погибших. Здесь упомянуты не только те, чьи останки были обнаружены в старых захоронениях под Россошкой, но и пропавшие без вести, а также пленённые военнослужащие, погибшие в лагерях, так или иначе участвовавшие в сражении под Сталинградом. Высеченные на кубах фамилии приводятся в алфавитном порядке. Велико было наше волнение, когда на одном из гранитных кубов мы обнаружили папино имя: «Willi Schmidt, * 6. 11. 11». Рядом табличка: «Блок 25, ряд 8, могила 303». Мы возложили цветы к надгробию и взяли немного земли с места захоронения отца.

На днях мы были на кладбище, где похоронена мама, – продолжила Матильда, – и смешали землю из далёкой России с землёй маминой могилы. Думаю, что теперь их уже никто не разлучит».



ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

ДВЕ РОССИЙСКИХ СТОЛИЦЫ

Триптих

Купола,
кровоцветные стены и башни,
вот и лобное место –
оскал отсечённых голов...
Далеки от Москвы
бесконечные скудные пашни
и сумятица вечная
смутных деяний и слов.
Вот и Кремль,
охранявший царей от народа.
В нём Царь-пушка,
Царь-колокол с выбитой челюстью там.
Император известный
незнатного роста и рода
под сгоревшей Москвою
состарился не по летам...

* * *

Петербург –
это город холодный и строгий,
порождение
боярского сына мечтаний и снов,
что в Европе вступал

за чужие России пороги,
чтоб коснуться наук
и обычаев новых основ.
Сырость, стужа
и труд непомерный косили
мужиков безответных,
но царский стучал молоток –
так, в мученьях,
рождалась вторая столица России,
чтобы ветра морского
страна получила глоток.

* * *

Что за нить,
что за связь меж двумя городами?
По линейке прочерчен
железом окованный путь.
Напряженье гудит,
никогда не стихая с годами –
этой стяжки магнитной,
таинственной не разомкнуть.
Колокольная,
шумная дочь Византии –
узел всех кровотоков
на Русской равнине – Москва,
ты – сакральное сердце
почти азиатской России.
Петербург, может, ты –
с европейским лицом голова?

СКАЗОЧНАЯ РАБОТА

Ох, и проказник же этот Лан – так и вертится, так и крутится, и всё ему покажи, и всё ему расскажи. Хотите, чтобы спокойно на месте посидел? Тогда рассказывайте ему сказку, три сказки, десять сказок.

Вообще-то, он уже и сам умеет такие сказки придумывать, что соседские малыши за ним увиваются и величают Сказочником.

А учится он в скучном научном начальном училище на кодировщика информации. Составляет программы для всяких роботов-уборщиков и электронных нянь. И зачем он в такое училище пошёл – никто из малышей не понимает. Правда, няни по его программам умеют отличные сказки рассказывать, но всё равно, лучше бы он на писателя пошёл учиться.

Лан училище не бросает, всё новые программы разрабатывает, кодирует, заносит их в специальные носители и даже ухитряется придумывать для каждой программы особое условие раскрытия носителя информации – Ключ называется. А чтобы такие Ключи подбирать, надо высшее училище кончить и труднейший экзамен в Совете специалистов сдать. И будет тогда Лану двадцать два года – совсем старый будет Сказочник, так малыши всегда думают про взрослых.

Но пока он ещё довольно-таки молодой, даже просто мальчишка одиннадцатилетний. И хлопот с ним у воспитателей – ой, ой! Опять исчез куда-то. Где его искать?

А исчез он, чтобы попасть туда, где ему быть не положено – пролез в главный зал экстренных запросов информации и устоялся на один из аппаратов. Там шёл приём срочного запроса от космических разведчиков. Сообщают они, что на одной далёкой планете под названием Земля, населённой разумными существами, произошла катастрофа – потоп. Обитатели планеты гибнут, и нет надежды сохранить информацию, чтобы разумная жизнь дальше могла развиваться. Да к

тому же ещё земляне думают необычно, как-то по-детски. Поэтому известные виды кодировки информации для них не подходят.

Срочную задачу разведчики просили направить Главному специалисту.

Лан даже вздрогнул, так резко прозвучал сигнал окончания запроса. И сразу ярко засветился номер канала для передачи ответа на Землю.

И вот уже идут за запросом. Лан метнулся в одну сторону, в другую, стукнулся коленкой о какой-то угол и увидел укромный закуток, где стояло надувное кресло. Лан в него вдавился, как птенец в гнездо. Волосы у мальчишки топорщились, сердце колотилось быстро-быстро, колено ныло. Ему вдруг почудилось, что он вынырнул из огромной волны, которая отхлынула, оставив его на клочке суши. Страшен потоп – темно, холодно, люди почти все утонули, жилищ нет, еды нет. Как дальше жить?

* * *

В это самое время Главный специалист думал о том, как передать полезную информацию на затопленную планету, чтобы помочь немногим спасшимся от потопа землянам снова наладить жизнь и развивать свои знания. Трудная, необычная задача. Не приходит решение. Придётся созвать Совет специалистов и искать ответ всем вместе.

* * *

А Лан – егоза, выдумщик – отсиделся в кресле-гнездышке, отдыхался, с мыслями собрался. Думал, думал... Придумал! И бегом к каналу, приготовленному для Земли.

Сел за аппарат, подрожал немного от волнения, закрепил на лбу ускоритель передачи мыслей, зажмурился и начал кодировать. Представил он себя могучим волшебником, который может помочь целой планете.

И полетели на Землю сказки – десятки сказок, сотни сказок:

Про растения и животных, чтобы люди учились разводить домашних животных, пчёл, ловить рыбу, растить хлеб. Про гномов-рудокотов, кузнецов, чтобы научить добывать и обрабатывать металлы. Про волшебные предметы: сапоги скороходы – наземный транспорт, ковёр-самолёт, то есть летательный аппарат, золотое блюдечко, по кото-

рому катается наливное яблочко и показывает то, что далеко – телевизор, про шапку-невидимку– способ перехода в другие измерения. Про джиннов-роботов.

О свойствах пространства-времени пришлось, вдобавок к шапке-невидимке, сочинить странную историю о человеке, который гостил у морского царя всего три дня, а когда вернулся домой, обнаружил, что прошло целых триста лет.

А ещё придумал Лан сказки о живой и мёртвой воде, чтобы научить людей медицине... И ещё, и ещё – множество самых разных сказок послал он на далёкую Землю.

* * *

Что же дальше? А вот что: сообщили вдруг Совету специалистов, которые уже несколько часов решали трудную задачу помощи землянам, что канал на Землю уже заполнен.

Как так! Не может быть! Вход в зал открывается только специальным ключом Главного специалиста. Все учёные вскочили и бросились к дверям зала. Закрыты двери по всем правилам. Отворили. Входят.

Так, понятно. У аппарата спит мальчишка. Пролез в зал через створку окна, благо худющий такой. Ускоритель передачи мыслей сполз ему на нос. Всю мощность передатчика истратил не известно на что, а теперь спит себе сладко.

Главный нахмурился, но будить не велел. Взял запись передачи и позвал всех к быстросчитывающему устройству. Читают, знакомятся с выдумками дерзкого мальчишки. Возмущённые все, сердитые.

Но постепенно лица стали светлеть. Вот ведь что выдумал Лан – самое подходящее для землян – сказки. И не напугают, и научат. Интересно, какой Ключ послал сказочник?

Главный потребовал Лана. Предстал тот перед Советом.

– Ключ! – отрывисто приказал Главный.

– Ключа у меня нет, я в окно пролез, – раздался тоненький голосок могучего волшебника.

– Я спрашиваю о Ключе к информации.

– Вы про сказки?

– Вот именно, про твои сказки.

– Ключ у меня такой получился. Те носители, в которых простая информация, сразу раскроются, и люди поймут смысл сказок о самых важных для жизни сведениях. А другие носители передадут только са-

ми сказки. Их будут рассказывать детям, а те – своим детям. А когда земляне уже многому научатся, они задумаются над смыслом сложных сказок и откроют спрятанные в них знания. Я так придумал потому, что сейчас земляне пока ещё не могут понять научные формулы и теории. Зато они будут сказки с удовольствием слушать и рассказывать. И сказки не забудутся, не исчезнут.

* * *

Молчали члены Совета. А что тут скажешь? Ведь и они были когда-то детьми, и каждому мир казался сказочным. Всё правильно.

Встал Главный и поклонился Лану, который этому очень удивился, так как ожидал, что его будут здорово ругать за самовольство. Немногословным был Главный:

– Сказочная работа! – произнёс он. Снял с груди искрящийся знак специалиста и приколот его к смятому отвороту форменки Лана.

ХЛЕБ ВРЕМЕНИ

Вы поверьте мне, ребята,
что давным-давно когда-то
различали в сутках только день и ночь.

Но однажды, в миг счастливый
стал волшебник хлопотливый
эти сутки на секундочки толочь.

В строго считанном порядке
он, из них сложив десятки,
шестьдесят секунд минутою нарёк.

Шестьдесят минут он вместе
замесил в волшебном тесте
и румяный час, как хлеб, из них испёк.

Понимаете вы сами,
что удобно жить с часами,
но запомните, прошу вас, поскорей:

впрок секундок не наловишь,
и минут не заготовишь,
а из часа не засушишь сухарей.

БОЙ ЧАСОВ

Бам – бом! Динь – дон!
Меч о меч – стук, звон.
Солнце против темноты:
копья бьются о щиты,
и, уздечками звеня,
два взвиваются коня.

Рыцарь в чёрном на одном,
на другом – в золотом.
На обоих латы
сказочно богаты,
шлемы с перьями под цвет –
ночь и день, мрак и свет.

Вот удар коварный, точный
намечает Час Полночный.
Час Полуденный мечом –
жарким, блещущим лучом
отразить удар готов...
Звучный бой – бой часов.

Звонкий бой идёт не зря,
знают рыцари –
ждёт красавица Заря
победителя!

ДОБРЫЙ ЧАС И ЧАС НЕДОБРЫЙ

Добрый час – он, долгожданный,
в тёплый дом войдёт с улыбкой.

Час недобрый – гость незванный –
с неприятностью, с ошибкой.

Добрый час гораздо больше
нужен каждому из нас.

Добрый час! Он, к счастью, дольше,
чем любой недобрый час.

НЕДЕЛИНА СЕМЁРКА

Под присмотром у недели
 есть семёрка дней,
рассказала мне неделя
 кое-что о ней:

«Понедельник – самый старший у меня,
я не знаю строже и серьёзней дня.

Вторник – день толковый, ловкий, деловой,
с крепкими руками, с ясной головой.

Очень мне по нраву умница среда –
добрая, простая, в хлопотах всегда,

И четверг трудяга, но с ленцой чуть-чуть –
он не прочь порою малость отдохнуть.

Пятница – девица скромная вполне,
мил её характер и приятен мне.

Размышлять суббота любит в тишине,
но нередко танцы держит на уме.

Чудо-воскресенье – сладкое дитя,
баночку варенья может съесть шутя,
часто убегает в гости и в кино,
и себя считает лучшим днём оно».

Три сестры и лето

ХЛОПОТЫ ВЕСНЫ

Словно Золушка весна –
ей в заботах не до сна:
надо льды растопить,
и траву напоить,
и на веточках вербы цветы распушить,
подвенечный наряд каждой яблоне сшить,
чтоб звенели у птиц и детей голоса,
зеленели поля, и луга, и леса...

Лишь заботы отойдут,
сразу сказка тут как тут:
можно окна открыть,
о морозах забыть,
можно кудри настоем на травах омыть...
Чудо-кони карету помчат во всю прыть,
чтобы милой принцессой, светла и красна,
точно к сроку на праздник успела весна.

ЗИМА В ГОРОДЕ

Зимушка, погоди,
в город ты не ходи:

здесь дороги грязные,
здесь трамваи лязгают,
здесь машины рычат,
едким дымом фырчат,
здесь тебя запылят
с головы и до пят.

Только не пугается
зимушка – пришла!
Шубка у красавицы
по утрам бела,
мягкие сапожки,
с блёстками серёжки,
на щеках румянец,
а походка – танец!

РАННЯЯ ОСЕНЬ

Молодая осень
на исходе лета
заплетает косы
золотого цвета,
весело рядится
в яркие обновы –
сарафаны-ситцы
из листов кленовых,
бусы ягод нижет,
губы красит соком,
наклонясь поближе
к зеркалам глубоким.

Но узнав, что птицы
собрались в дорогу,
осень огорчится
и всплакнёт немного.

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ ЛЕТО

Посмотри: весна-принцесса,
с поздним ландышем из леса,
расстелила луг зелёный
с колокольчиковым звоном.

А зима – её сестрица
для ручья и для криницы
ледяной дала водицы,
зелень елей, зелень сосен.

Их сестрица третья – осень
разбросала ягод россыпь
и на травах по колена
настояла запах сена...

А всё вместе это
получилось ЛЕТО!

СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВСТВА

(К юбилею Г.-Х. Андерсена)

Его высочество КОРОЛЬ ЛЮМБАГО 23-й вышагивал по главной булыжной мостовой своей столицы, чеканя шаг, как на дворцовом смотре своей гвардии... Он знал, что ЕГО народ, любящие ЕГО подданные, как и он САМ, восхищаются новым нарядом – настолько новым, что и Само Величество иногда смущается (в своей королевской душе, конечно) его новаторской необычности. Новое платье было и невесомым и абсолютно прозрачным и порою даже, во что трудно было поверить реалистически настроенному королевскому уму, невидимым! Высокие королевские ботфорты отстукивали булыжник за булыжником, иногда высекая из них длинные голубые искры (отчего стоящие на панелях дамочки каждый раз умильно вскрикивали и шурили свои плутовские глазёнки)... Их шаловливость импонировала бодрому и, не будем лукавить, щедрому на амурность королевскому сердцу. Но не только искры из-под каблуков зажигали сердечки панельных горожаночек: над ботфортами начиналась новая сфера восхищения: объёмистые и упругие королевские тела рельефно вырисовывались благодаря шёлковым нижним панталонам, до этого променада не попадавшими на всеобщее обозрение... Интимность и открытость натуры государя радовала его народ... Выше панталон – вплоть до роскошного оранжевого парика ничто, буквально НИЧТО! не загораживало тело Его Высочества! Народ ликовал и душа Короля вместе с ним... Правда, когда Король проходил мимо тенистого тысячелетнего платана – традиционной гордости магистрата столицы – Король слегка подмерзал и в его светлое сознание прокрадывалась то ли несколько

запоздалая, то ли несколько преждевременная мысль:

– *«Не прикарманили ли эти шустрые портняжки чуток Его, именно ЕГО! королевского, то есть казённого, то есть НАРОДНОГО плательного материала! Но об этом потом!»*

Пока народ горячо ликует, и уже только эта горячность согревает Государя... Особенно умиляют Короля дети горожан: они шустро – подобные городским воробушкам – летят вдоль процессии, то обгоняя её, то догоняя. И все смеются, подпрыгивают, как пичужки, размахивают ручонками...

И вдруг стайка ребятишек остановилась и замолкла. Грязный, оборванный мальчишка – лет десяти-двенадцати – нарушил субординацию и полицейские предписания и подошёл почти к самой охране... Вытянув чумазую худую ручонку и просто неприлично откровенным жестом тыча в Его Высочество Короля ЛЮМБАГО 23-го, оборванец заорал : – «Эй, вы, дурни, посмотрите-ка на этого ГОЛОГО мужика!!!» Король оглянулся – за ним была свита, впереди которой шёл, запыхавшись и потев, сам Первый Министр. Был он в ужасно старомодном чёрном сюртуке и длинных чёрных панталонах («как я не видел раньше этакого безобразно архаичного одеяния?» – мелькнула огорчённая мысль в светлой голове Его Высочества!)... Но скверный мальчишка тем временем продолжал голосить на всю улицу, а может и на всю страну – таким фальцетом он кричал!

– Король-то голый! ГОЛЫЙ!! ГОЛЫЙ!!!

– О каком ещё короле он верещит, да так противно? – спросил себя Король ЛЮМБАГО 23-й. – Неужто это ЗАГОВОР против МЕНЯ?.. Король прекратил шествие своё, повернулся и в упор посмотрел на Первого Министра. Тот вначале попятился, затем оглянулся на свиту и совершил то, что было позже воспето всеми бытописателями Королевства – как правого, так и левого толка!

– «Свита! Король приказывает немедленно перейти на новую форму одежды! РАЗДЕВАЙСЯ!!!» – И свершился очередной переворот в Высокой Моде от кутюр Министры всех рангов, маршалы и адъютанты, камердинеры и камер-лакеи – все лица мужеского полу немедленно стали сбрасывать фраки, лапсердаки, смокинги, ливреи и, что было самым пикантным – панталоны! Вначале верхние, а затем и нижние (если они были в наличии). Король Люмбаго 23-й в умилении смотрел на свою верную опору и уже повернулся вперёд, собираясь продолжить шествие к городской ратуше, где его ждал Бургомистр и большой королевский праздничный обед. Но тут к королю подбежала его самая доверенная фрейлина и стала самолично, без помощи при-

слуги, расшнуровывать корсет, а затем отстёгивать одну за другой все свои двадцать три(!) юбки... Мостовая вмиг покрылась сброшенной одеждой, которую, однако, аккуратно и быстро подобрали полицейские из наружного охранения. А тем временем преображённая процессия пошла далее.

Ошарашенный народ безмолвствовал, но его мнение уже никого не интересовало.

ТРОЯНСКОЕ ЗЕРКАЛО

Фрагмент повести

Полуфантастическая небыль, в которой задействованы исторические, литературные и вымышленные фигуранты как наших времён, так и античной, гомеровской древности... Для читателей всех возрастов, любящих или уважающих литературный вымысел, помнящих реалии советской истории и ненавидящих насилие...

<...> Как и предположил Штирлиц, «Зеркало» спрятали под лестницей Пергамского алтаря... При бомбёжке Берлина одна из сотен тысяч британских бомб пробила стеклянный фонарь над лестницей и взорвалась на её ступенях, на самом левом краю, над замурованной когда-то дверцей... Наспех уложенные десять лет назад кирпичи вывалились, первой в пролом проникла, как вы понимаете, сама Кэт... Она и обнаружила у кирпичной кладки мумифицированный труп профессора Вольфа. Великий учёный был замурован заживо! Гитлер не простил ему своего позора!!! Само «Зеркало», добротное укрытое дощатыми щитами, стояло в глубине подлестничного, весьма огромного и практически пустого пространства...

Надёжная охрана была поставлена сразу же... Никаких покушений или попыток проникнуть под лестницу не было... Обычное мародёрство, как со стороны «освободителей», так и со стороны «аборигенов» пресекалось тут же автоматными очередями... Опознание трупов не проводилось (не было соответствующих указаний, а зря: могли остаться какие-то рудименты прежних сведений о внезапно запрещённой выставке). Новоявленные трупы просто оттаскивали за стены музея, а далее ими распоряжались похоронные команды...

Спустя неделю, ещё до подписания капитуляции, «Зеркало», как и найденные при нём и в других отделах драгоценные экспонаты, пе-

ревели в Москву («Зеркало» сопровождала сама Катерина Устинова, как она стала себя опять называть)... Поначалу «пергамские» ценности укрыли в кремлёвском хранилище под Красной Площадью, позже перевезли в Музей Революции, где их благополучно забыли до самого декабря 52-го года...

А в декабре Екатерину Петровну Устинову, русскую, члена ВКП /б/ с 1943-го года, капитана внутренних войск, специалиста в области античного искусства, исполняющую обязанности заместителя директора Государственного Музея изящных искусств вызвали в Кремль!

К САМОМУ!

После четырёхчасовой полуночной беседы с Вождём мирового пролетариата Кэт была отведена домой, и при ней появилась именная папка, в которой лежало (*под грифом Совершенно Секретно, Особой Важности*) поручение И. В. Сталина за его личной, не факсимильной, подписью... Е. К. Устиновой поручалось в течение месяца обеспечить установку «Изделия с плоским металлоподобным покрытием, вывезенного из Берлина в счёт репараций» в специально оборудованном помещении Лаборатории Измерительных Приборов (ЛИП АН), руководимой профессором Курчатовым... Первый и, как оказалось, единственный контакт И. В. Сталина с «Зеркалом» состоялся в начале марта в ЛИПАНе ...

Из Дневника Екатерины Устиновой

«...1 марта 1953 г. Звонок из Кремля. Проверка Т.Б. /то есть Техники Безопасности посещения, так следует понимать привычную аббревиатуру – СЛ./

В 18.14 к подъезду института подъехали три машины... САМ был в средней... Похоже, здоровье его было не на высоте... Он опирался на руку Полковника, который был со мной на постоянной связи... Помня, очевидно, всё, сказанное ранее, ОН приказал всем, кроме меня, выйти из Просмотрового зала. Помещение действительно напоминало маленький, уютный зальчик для просмотра кинофильмов в узком, «семейном» кругу... Я постаралась создать максимум уюта...

«Зеркало» из деревянного берлинского ящика-шкафа давно уже перенесено было в бронированный, вертикально установленный плоский саркофаг... Его с трудом занесли в просмотровый зал восьми солдат, они же поставили его вертикально, фасадной поверхностью к креслу, метрах в трёх от него... Встроенный в саркофаг механизм позволял бесшумно и абсолютно без усилий, словно дверцу пресловутого «Славянского шкафа», открывать всю внутреннюю полость, в которую и было этими же солдатами вставлено античное со-

кровище... Дверца опять была бесшумно задвинута и заперта наглухо имеющимся у меня (и только у меня) ключом особой секретной конфигурации. Такие меры не только исключали несанкционированный контакт посторонних с «Зеркалом», но и позволяли обеспечить его сохранность при серьёзных катаклизмах... (Некстати вспоминать, но те же слесари и механики, что резали и растачивали металлические «одежды» саркофага, ненамного позже монтировали и саркофаг самого Генералиссимуса!)

Сопровождающий полковник достал из принесённого портфеля небольшой счётчик Гейгера и стал методично «прозванивать» все стены, углы помещения; затем подошёл к саркофагу «Зеркала» и прозвонил его – всё было чисто... Потом повернулся к нам и предложил проверить себя, как он изящно выразился – «на радиометрическую чистоту»... Я была абсолютно чиста, а вот на левой руке САМОГО дозиметр вдруг сухо и зло застрекотал! Надо же! Это «фонили» ручные именные часы «Победа» – подарок 2-го Часового завода... Вся страна их носила и любовалась в вечернее время зеленоватыми цифрами на чёрном циферблате... С довоенных времён для этого свечения использовали радиоактивные природные соли, но лишь после атомных взрывов к радиации, даже подобного низкого уровня, стали относиться иначе... Сталин снял часы с руки, передал их офицеру и распорядился подготовить ему объяснение! Представляю, сколько голов полетит «в связи с покушением на здоровье Вождя!»... Забрав злополучные часы и свой дозиметрический прибор, полковник вышел, оставив нас наедине с запертым саркофагом. Я быстро открыла его, откинула в обе стороны дверцы – если это можно сказать о дверцах, сделанных из толстых полированных плит хромоникелевой – то есть нержавеющей стали...

Иосиф Виссарионович увидел, наконец, серо-серебристую, матово-равнодушную поверхность античного творения... Он, по-стариковски неловко, встал из уютного кресла, подошёл к экрану, осмотрел бегло всю его плоскость, внимательно проглядел весь периметр змеистых, золотистых рельефов оправы, отошёл на шаг, вновь подошёл, заглянул, зачем-то за «Зеркало» и вновь не очень успокоенный уселся и стал ждать «обещанного чуда»... Я сидела неподвижно сзади на высокой табуреточке, предусмотрительно захваченной мной из музея «Изящных Искусств»...

Моя голова находилась на том же уровне, что и совершенно поседевшая некрупная голова Вождя, однако на полметра дальше от экрана. ОН мне не мешал видеть то, что представлялось ЕМУ на экране «Зеркала», и я, даже своим дыханием, не мешала Сталину... Пока что

плоскость зеркала была пуста и холодна... Сталин заёрзал чуть-чуть явно недовольно, стал искать различные ракурсы, оглянулся на меня, затем, поняв безнадежность быстрых реакций на его недовольство и, надеюсь, вспомнив мои доводы в связи с заветом профессора Вольфа, успокоился (внешне) и стал ждать... Опять НИЧЕГО!

Я стала вызывать в воображении известные мне факты (или мифы?) из жизни Вождя... Затем слухи... Наверное, то же, но более правдоподобно и обоснованно, одновременно со мной делал и ОН... Вдруг из глубины поверхности Зеркала на нас стала надвигаться какая-то странная решётчатая конструкция... От неё тянулись линии спутанных проводов... Провода повернули к центру Зеркала и как будто вытянули оттуда – мёртвое тело... Оно лежало навзничь, откинув в сторону правую руку, левой прикрывало лицо... Чёрная лохматая папаха почти закрывала лоб... Из-под расстёгнутого полусубка выглянула красная (или окровавленная?!) рубаша, подпоясанная узким ремешком... Невысокий, давно небритый, но безбородый кавказец стоял над телом, держа наготове огромный «маузер» – такие я видела только в «революционных» фильмах...

А действие нашего «фильма» происходило где-то в гористой местности: тело лежало на узкой тропе, влево и вправо от неё поднимались кусты, грубые каменные уступы... Молодой кавказец вставил оружие в кобуру, достал из грудного кармана небольшую трубку, перехватил её левой рукой, достал коробок спичек, как-то ловко зажгёт вынутую спичку и ею же стал раскуривать табак, уже заранее, по-видимому, набитый в трубку... До боли знакомым жестом он поднёс трубку ко рту – я увидела молодого... СТАЛИНА! По-видимому, его увидел и САМ. Он слегка кашлянул, попытался повернуться ко мне, но тут же прекратил всякие движения и стал дальше всматриваться в экран... А на экране тучи начали буквально сгущаться... Стреляли (правда, бесшумно) орудия, горели старинные усадьбы и особняки России... Стояли у стенки и падали мужчины в офицерской форме и в одних кальсонах; поджарые молодые люди в чёрных кожаных куртках расстреливали в одиночку и группами; из парабеллумов и винтовок; стреляли в упор в одиночек и издали в строи связанных проволоками мужчин; прикладами гнали в товарные открытые вагоны женщин с детьми и без детей; из быстро идущего вагона поезда выбрасывали трупы детей и еще не умерших взрослых... Трупы людей напоминали гигантских опичанных кур – так же вяло изгибались шеи и ноги, и даже руки не напоминали человеческие, а были подобны цыплячьим оголённым крыльям... Всё выкидывалось на набегающие насыпи и откосы... И над

всеми сменяющимися картинами жестокости витает КЕМ-ТО обновляемый список убиваемых людей и внизу каждого нового видна одна чёткая подпись: И. СТАЛИН... Различны лишь количества репрессированных, мотивации и даты... Счётчик жертв сталинизма тарыхтит, приплюсовывая тысячу за тысячей, миллион за миллионом... И откуда-то сбоку «выбегают» холмики могил с крестами и без крестов и, стекаясь к середине экрана, исчезают в его глубину...

От экрана слышен неторопливый глуховатый женский голос:

*Как вода
Течёт из – под НКВД
Кровь не согласных!
Быть беде!
Страну покрыли лагеря!
Камчатка! Магадан!
Сгорели в голоде тогда*

*Мильоны! Всё зазря!
Страх порождает палачей!
И ты становишься НИЧЕЙ!
А кто не с ними, тот их враг,
И должен быть забит!
Иль сослан рыть пустой овраг!
И будет там зарыт!*

Имя впишут в смертные скрижали, Снисхожденья не проси!

А внизу подпишется: «И. СТАЛИН», значит то:

«ПАЛАЧ ВСЕЯ РУСИ»

При этих словах Иосиф Виссарионович Сталин слегка вздрогнул, опять чуть не повернулся к сидящей сзади Катерине Устиновой, но на полпути затормозил и вновь устремился к экрану...

Там шла война! Волна бойцов за волной поднималась на боковины склона холма, а с его вершины методично их скашивали пулемётные россыпи... А сзади, под холмом, за последними цепями красноармейцев к подножию сопки подошла цепь офицеров и солдат с ручными пулемётами...

Они не поднимались наверх, под фашистский обстрел... Их собственные ручные пулемёты были направлены в спины наступающих и падающих бойцов... И вдруг с экрана зазвучал глуховатый голос с кавказским акцентом – голос Вождя:

*Мой СМЕРШ пропустит только в ад
тех, кто хотел сбежать назад!
Трусливая пехота
Пойдёт под пулемёты!*

Сталин вздрогнул, стал искать динамики, источающие ЕГО голос; не нашёл и крепко выругался: «ШЕНЕ ДЕДА МОДХЕН!» Я знала, что это значит по-грузински, но Сталину было безразлично чьё-либо присутствие... Он стал что-то говорить сам себе, вначале тихо, монотонно, потом более громко и наконец, яростно что-то закричал прямо в экран «Зеркала»... Мой диктофон работал и работал, и вся надежда была на позднейшую расшифровку... Но кто же – кто рискнёт переводить рёв разъярённого Тирана!? Только самоубийца...

А на экране появилось тело молодого мужчины, упавшее на оголённые электрические провода, идущие вдоль решётчатого бетонного забора... Рядом, на провода была наброшена телогрейка с белой надписью на спине: «ЯКОВ STALIN»... Под нею на ткани был грубо намалёван гибрид пятиконечной звезды и «Маген-Давида»...

Сталин закрыл лицо и застонал и... заплакал... Вначале тихо, затем громче... Плачущий, скулящий как собака, старик, он что-то ещё повторял...

А на поверхности «Зеркала» вдруг возникла кремлёвская стена... Мавзолей Ленина... Нет, это был Мавзолей Ленина и... Боже мой! Самого СТАЛИНА! Два имени, одно под другим были выложены тёмно-красным гранитом на чёрной плоскости фасада... И вот открылись нижние двери, и из них, на плечах рослых солдат в шинелях, появился тёмно-коричневый гроб...

Шестеро носильщиков повернули вправо, прошли метров двадцать... Затем чуть опять вправо, очутившись сбоку, сзади Мавзолея... Там уже была вырыта могила... Высился холмик желтоватой почвы... Гроб никак не хотел входить в яму... Наконец его втолкнули, опустили и стали забрасывать землёй... И вдруг один из солдат спрыгнул в яму и стал утаптывать сбрасываемую землю ногами, стоя почти на гробе...

Голос с экрана:

Солдат плясал на крышке гроба!

Такой вот выдался расклад...

Страна вздохнула, но без злобы:

«Ещё один спустился в Ад!»...

И экран зеркала вдруг опустел... Опять он стал равнодушно – серебристо – матовым...

Иосиф Виссарионович как будто и не видел его... Он закрыл лоб и

глаза обеими руками и продолжал бормотать по-грузински неведомые мне слова...

Я встала; подошла к саркофагу, задвинула дверцы и заперла их. Сталин молчал... Молчала и я, стоя у бронированного ящика... Продолжалась тишина... Вдруг Сталин опустил руки на колени, поднял голову и скорбно взглянув на меня... Я предложила ему руку и помогла встать... Он не отказался, мы добрались до двери. Через три минуты машины увезли его, наверное, на «Ближнюю Дачу...»

От Лаборатории одновременно отъехало только лишь две машины: сам Сталин со своим бессменным телохранителем Хрусталёвым и машина сопровождения-охраны... Полковник остался, чтобы опечатать просмотровый зал... Я ещё и сама не знала, когда и куда мне ехать... Что-то недоброе и глухое шевелилось в подсознании, ощущение не страха, а того самого чувства «завала», оказывается и не позабытого с давних военных времён разведработы... Я опять вернулась в зал к «Зеркалу» – оно слегка светилось в отключённом пространстве – то ли отражённым панелями бронезащиты светом из коридора, то ли своим собственным? Слегка погладив лицевую дверцу, как на прощанье, я быстро вышла, чуть не наткнувшись на входящего полковника.

– «Я ненадолго, только поставлю печати, и ...за вами» – сказал он, и мы расстались... Больше я никогда его не встречала.

Почему-то я не поехала домой, не поехала и в Музей... В Сокольниках у меня был тихий, никому из родных, и тем более не родных, неизвестный уголок, для меня всегда открытый... В этой маленькой норुшке я и провела три дня и три ночи, постепенно освобождаясь от наваждений этих дней... На четвёртый день я вышла, наконец, на свежий воздух – было холодное мартовское утро... Снег лежал ещё февральский, но уже начавший темнеть и чернеть по-весеннему... Проходя к троллейбусной остановке, я случайно взглянула на распахнутые страницы стенного стенда газеты «Правда»... Оттуда на меня глядел – сам Иосиф Виссарионович, окантованный широкой чёрной рамкой! Вот этого уж я никак не могла ожидать... Найдя такси, я быстро домчалась до Музея... Никто, похоже, и не заметил моего долгого отсутствия. За последние пару недель все уже привыкли меня не видеть в положенное время, да и вообще моя самостоятельность стала обычным и для начальства, и для подчинённых... Вот что значит себя правильно поставить, как говаривала одна стерва! В моём кабинетике, как обычно, лежали газеты последних дней... Я проглотила их в мгновение... Очевидно, приступ, сведший И. В. Сталина в могилу, начался

сразу по его возвращении на дачу из ЛИПАНА! Я звоню туда... Никто не отвечает... Звоню самому Курчатову... Секретарша не соединяет ввиду отсутствия академика... Представляюсь и, услышав сказанное, медленно оседаю в своё антикварное креслице.

Через час после отъезда всех нас из Лаборатории, не только меня, а следом и полковника, в просмотровом зале раздался мощный взрыв – как будто в него влетела футаска килограмм на сто! Обрушились стены, потолок, прорвало воду отопления, лопнула стена, ведущая в реакторное отделение... Теперь там все... Работают в защите, боясь выброса радиации. К счастью последнюю неделю реактор был «заглушен»... Но кто чего знает...

– «Вас искали везде, но, похоже, смерть Иосифа Виссарионовича – она судорожно, по-бабьи, всхлипнула – всё отодвинула в сторону... Но всё равно приезжайте, вас очень ждут... А вы сами идёте на проводы Сталина в Колонный зал? У нас все идут...» Я попрощалась и решила закурить откуда-то завалившиеся у меня любимые сталинские папиросы – «Герцеговина Флор...» Похоже, в Книге Судеб Страны Советов открывается принципиально новая страница!

Но что, уж действительно, ЧТО? по Пушкину «день грядущий нам готовит!?»

Прощание с только что ушедшим Вождём – всегда официальное мероприятие... Не только подчёркивание своей лояльности к пока ещё существующему режиму, но и выявление намечающихся передвижек на Гюсолимпе: кто будет стоять ближе к «Телу», кто уже отодвинут на задворки власти, а кого вообще не сочли нужным пригласить на «поминки», в знак накопившегося недовольства прежней близостью к САМОМУ!

Меня это мало интересовало – придёт время, и всё разъяснится – и поэтому я решила «пройти вдоль» Тела вместе с рядовыми москвичами, благо их уже немало накопилось вдоль Пушкинской улицы... Кордон из конной милиции меня не пропустил, и я решила подняться прямо до Трубной: уж там-то я и вольюсь в массы! Но, подойдя окольным путём к углу Трубной и Пушкинской, я притормозила... Огромные «студебеккеры» сплошной шеренгой отсекали вход на Пушкинскую и образовывали для людского потока узкую, не более двух тротуаров, полосу для движения...

От Трубной площади вплоть до поворота налево, на Пушкинскую, сплошным, без малейших просветов, плечо к плечу, тело к телу неторопливо, почти неподвижно, колыхалась человеческая масса... Морозный мартовский день, такой приятный на просторной улице

Горького, здесь становился серым, зябким и сырым... Дыхание сотен (если не тысяч) спрессованных тел увлажняло воздух... Монотонное переплетение стонов, выкриков, кашлей создавало утробное гудение... Каждый элементик потока пытался двигаться вперёд и не желал быть придавленным ни к стенам здания слева, ни к колёсам грузовиков справа – все стремились в середину, и никому не было спокойно... А впереди на обледеневшем от скользящих ног повороте почти невидимо для посторонних творилось страшное: люди сбивали, сминали своих соседей; кто не смог уцепиться за другого, падал и постепенно затаптывался – никто не хотел гибели упавшему – будь-то женщина, парень, ребёнок, но переступить через корчащееся под ногами тело он тоже не мог: ноги почти и не двигались, а тело выносилось потоком, сжимающим плечи! Это была истинная модель нашего общества – все двигались только вперёд, независимо от ориентации тела, но двигались абсолютно несвободно...

Какие-то два здоровых парня со смехом вскочили на платформу грузовика и, как в омут, нырнули в людской поток... Самое удивительно было увидеть их через пятнадцать минут, благополучно, как после удачного нырка с вышки, вылезающими из людского месива... Вот они уже на грузовике и весело показывают друг другу добычу: пару кошелев и меховую шапку... Чьи они?

Дольше я не могла оставаться здесь и быстро ушла... Позже мы узнали, что в этой «поминальной» давке сгинули несколько сот и москвичей, и ходоков из числа приезжих...

Вот уж истинно языческие похороны «племенного вождя» – с человеческими жертвами!

В разнообразных разговорах о причине смерти Вождя, слава Богу, никто из нас не упоминался!

Я подозреваю – теперь, после XX-го Съезда партии, были более веские и аргументированные причины искать истинно-значимых виновников или кандидатов в них... Поэтому авария на реакторе привела лишь к формальному служебному расследованию... Завлаб получил очередной выговор, смягчённый через пару месяцев очередной денежной премией...

Саркофаг с «Зеркалом» был, без единой царапинки, извлечён из-под каменного мусора и возвращён, но не обратно, в Музей Революции, а к нам – в Музей Изыщных Искусств...

Его аккуратно заставили русскими абстракционистами из «Бубнового Валета», картинами из Дрездена, Берлина и прочим драгоцен-

ным репарационным добром... До лучших, если таковые настанут, времён...

*Россия спит на плывуне
Своей истории печальной ...
В которой нет традиций дальних,
В которой всё в крови, в огне!..
Где ниву новый временщик
Вновь заседал зерном бесплодным,
Где всё взрастало беспородным,
А миром правил ростовщик...
Где полумусульманский мир
Засыпан пеплом христианства,
А императорский кумир –
Замес на рабстве и на пьянстве!*

«Зеркало» тихо и незамеченное никем из высокого начальства, простояло более сорока лет в запаснике моего Музея!.. Я состарилась, на моих глазах приходили и уходили всемогущие вожди Российской Державы, но ни один, по-моему, не заслуживал свидания с «Зеркалом»...

Пришёл 1985-й год. Неожиданно «откупоренная» Перестройка сильно напоминала историю «PANDOREBOX» – сундучка пресловутой Пандоры... Как и «Зеркало» – Пандору (то-есть кубышку с человеческими бедами) сотворил тот же самый Гефест, но, в отличие от миролюбивого «Зеркала», Пандоре предназначалось внести в людское общество, слишком уж обременённое культурой (подарок несчастного Прометея) побольше бед и страданий...

Что принесёт Новый Курс Михаила Горбачёва народам России, народам Мира?

Только «Зеркало» могло рассказать о Будущем... Вот почему я «вышла» на Генсека и попросила его приватной аудиенции... В тот период отказать мне, директрисе Всесоюзного Музея, давней, как и он сам, чекистке, Горбачёв не счёл необходимым... Я честно предупредила его о небезопасности такого диалога... Он поверил всему и сам попросил никому из близких и тем более официальных лиц не сообщать о его согласии – «Нас многие не поймут, дорогая Кэт, а риск – он только начинается! Впереди у нас абсолютно непредсказуемые по результатам решения... И каждое может стать судьбоносным – не для нас с вами, не для меня – для миллионов и миллионов россиян...!» К осени 1985-го

года саркофаг с «Зеркалом» был установлен за ширмой в моём кабинете... Михаил Сергеевич, однако, попросил меня НЕ присутствовать при сеансе связи!

– Я должен знать всё один, и за всё отвечать – ОДИН!..

– Да поможет Вам Бог! – сказала я и перекрестила его. Я сделала это интуитивно, но от чистого бабьего сердца ...

Три часа я ждала его выхода из кабинета... Глубоко за полночь открылась дверь... За спиной Горбачёва на экране «Зеркала» затухало красноватое пыльное облако... Слышимые ранее, сквозь двери кабинета, неясные звуки – исчезли полностью... Горбачёв был невесел...

– У меня, у Вас, у всей страны нет альтернативы! ... Этот шанс России я должен дать, иначе я прокляну самого себя! Но что будет в итоге – об этом лучше и не говорить! Пандора сильнее!

– А в конечном итоге всё решит Воля Народа! «Зеркало» – пока уберите. – Предложим попозже какому-нибудь крутому реформатору – пусть посоветуется!

Прошли годы. Завершилась Перестройка. Начался «откат» к прошлому, или постепенный «ренессанс», или просто жизнь России пошла своим очередным непрямым путём...

*И наша жизнь. извилистой тропой
Идущая от топи и до топи,
Через распады всех утопий –
Похожа на бессмысленный запой...*



ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ

СУГРО И ХЛО

Это было тогда,
Когда снег голубой
Серебристой окта-
вой плескался в гобой.

В нежном танце с судьбой
Белит бал дуралей,
Где летучий ковбой
Бреет перья аллей.

Тонет тень каннелюр.
Лазуреют глаза.
Акварельный велюр
В снежных рюшах гнезда.

Польхают сугро –
бы, довлеют над Вы.
Звёздно-пенные хло –
пьяно лижут стволы.

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Белая лошадь танцует во мне.
Мягким аллюром волнирует кожа.

Грива лорнирует пряди – во вне,
Шёлково-локонным ритмом пороши.

Блеском дробится стаккато копыт.
Цоканье бьётся парадово-пьяно.
Ласкою радуется блико-медвяный
Глаз, проникающей силой рапид.

ИНДЕКС КОДЕКСА

«Амбивалентность толерантности»
Так была названа игра,
Где я, – валетом филигранности,
Искал округлости угла.

Дождём сочился воздух памяти.
По мяте грезил суходол,
И суковатость сока камеди
Медвяно метила подол.

И падал, падал индекс кодекса.
Кадила кадмием свеча.
Венчанье скатывалось модой в са-
Сакральность обруча мяча.

Я – КОРОЛЬ

Я воссел на высокий стул,
Как король – на коронный трон.
В голове – голубиный гул,
А вокруг – колокольный звон.

Был народ – оглашенно пьян.
Голосил, пил и стар и млад.

Я король, я курю кальян,
Коли я – венценосный лад.

НЕОН ЛАВАНДЫ

И каждый день мне, как последний,
Неон лаванды льёт в глаза.
Озона зной занозно-летним
Послом полощет небеса.

И Нибелунги «Лиги смелых»
Галапагосят гладь листа
Травы любви моей, и мелом
Ликует матовость холста.

* * *

Небо упало на руку мне,
Морем матросско-матрасной обочины.
Чинно чиню я, в его глубине
Невода водно-проточные вотчины.

* * *

И золото летит в обоз озноба ос.
Осанна Анне – свадьбою над ванной.
И на диван – туман обмана роз
Росит зеркально-инкарнальной манной.

* * *

Гроз озёра взирают с края
Птичьего грая.

Гравий греет, с горой играя,
Гривою мая.

НОЖНИЦЫ СТРИЖА

За звуком поезда бежать
Рукопожатья обрывая,
Перонно-рельсовой стаей
В окно проталинно истаять,
Чтобы погоном гона стать.

И в медной талии оркестра
Искрою роя рубежа
Жаровни верхнего реестра
Струиться в ножницы стрижа

ЛИМОННЫЙ ВЕТЕР

Быть может это сон...
Прохладой вечер дышит.
В патетику сторон
Лимонный ветер выжат.
И чувство снега как, -
Кокосовая сага,
В саргассовый сквозняк,
Над лунным полем маков.

БАРДОВЫЙ ВКУС

Я по-углям хожу –
 боль
 Живая!
Саваофа жену

про-
вожаю.

Жжёт желания жар.
Жернов –
воздух.
Дух густеет в пожар:
поздно!
Поздно!

Апперкотом под дых.
Сброс –
откосом!
Гонит стая борзых –
сквозь
берёзы.

Берестяный настой –
пей,
не брызгай!
Зайца визги – не вой.
Волки? –
близко.

Низко стелется лап,
реп
когтистый...
Стисни пазухи лат
и –
не кисни!

* * *

Кисти
мёрзлых
рябин.

Вкус? –
 бордовый...
Багровеет глубин –
 берег
 новый.

ЧУР, МЕНЯ, ЧУР!

Изживаю себя,
 из-живаю!
Живодёром себя,
 вы-нимаю.

Солитёром.
 Матёрым.
 Злым!

 Дым.
 Стрельба.
Щёлканье кнута.
 Стоны,
 звоны,
 патроны.
Голубиный ряд.
 Балаганный мат.
 Пат!

Не вышло...
Я, - не вышел!
Всё ещё, там, внутри.
 Хоть ори,
 до зари.

Марево варева
чёртовой арии –
бритву, надменно точит.

Точек
Топорщится взрыв
рыб -
ими иглами в спину.
Оспинами-на-льдины! – мины!
Отслаиваются пластины
взгляда.
Падают
адово
рядом,
стеклянным ядом.

Ах!
Барабанный крах,
кастаньеты летят в галоп.
Хлоп!

Толоконный лоб.
Не крутись.
Окстись.
Где подол, где высь!
Брысь!
Худая жизнь.
Хорошая – привяжись!

НЕЗДЕШНИЙ СВЕТ

*«Пью горечь тубероз»
Б. Пастернак «Пир»*

Пью горечь тубероз,
Фавором Тадж-Махала
В изложии лекала
«Манежа мёртвых звёзд».

Я пью изюм лица,
Молочностью прохлады
Гольфстримовой рулады
Галактики яйца.

Пью память литургий
В том, вечном полустанке,
Где женственность огранки –
Священной панагий
Я пью нездешний свет
В таверне инородца...
И нету дна в колодце
Кофейно-горьких лет.

ЛЕДИ - ДИ

Леди, леди, леди,
«Леди-Ди»...
Всё плывут по небу
лебе – ди.

Белыми по-си –
нему в Неву,
Небу парусинно-
новому.

Тело, тело, тело,
лет кольцо.
Четырьмя скатилось
на крыльцо.

Милая – люби-
мая моя.

недо-исце-лова –
 лён-ная.
Вздохи, охи, стоны,
 капли глаз.
Голубами тонет
 слёз топаз.

* * *

Запотело лето,
 как стекло.
золотистой метой
 ис-текло.

МАРИНА АВЕРБУХ

КЛЯНЧА

(из заметок с побережья)

Эту необычную парочку чаек мы встретили на берегу кильского фьорда – там, где стоит наш многоквартирный двухэтажный отельчик под звонким завлекающим титлом «Zur schöne Aussicht»... Именно в нём мы уже который год проводим самые тёплые 2 - 3 недели августа месяца. Обычно мы сидим долгими часами у самой воды – именно там, где разноцветные валуны почти навалились на светло-зеленоватую воду... Сквозь эту воду видны все донные барханчики, ракушки и ростки морской травы различных, но обязательно йодопахнущих сортов...

Если сидеть в полуметре от финишной линии миниприбоя, то удаётся увидеть, и то лишь на малые доли секунды, исчезающую изумрудную полосу в гребне набегающей волны.

Эта зеленоватая ленточка подобна виденному нами много лет назад знаменитому крымскому «зелёному лучу», на мгновение вспыхивающему на границе солнца и воды – она также почти неуловима и так же прекрасна...

Всякое сидение у свободно плещущейся воды – и блаженство, и покой, и отдохновение... Не мешают ни возящиеся неподалёку ребятишки, ни время от времени проплывающие фасонистые шестизэтажные пассажирские лайнеры или трудяги – сухогрузы, заставленные по макушку коробками - контейнерами... Всем хватает тишины...

И вдруг чей-то плаксивый, но не по-человечески, и даже не по-собачьи скулящий голос (не голосок, а звучный сопранистый голосище) закрутил наши головы:

– *«Где же это вопящее создание и кто оно – кричащее – есть??»*

Сканируем лежащую перед нами водную полянку... Никого... Заглядываем по краям... Ничего... Ан нет! Из-за правого волнолома – на нашем «штранде» это уходящая метров на двадцать засыпка из огромных валунов – выплывает, словно струг Стеньки Разина – Чайка...

(Может, это и Чай, если он – мужского полу, но различить издали нам, не имеющим соответствующего орнитологического образования, не дано...).

Бежевато-крапчатая птица – практически «взрослых» размеров, суматошно плывёт по воде, постоянно меняя курс: то влево (в нашу сторону), то вправо, то вдруг начинает кружить по водной глади, тем самым порождая разбегающиеся от неё тёмные круги... Птица (или «птиц?») явно искала кого-то, нам пока невидимого... Болталась по воде и скулила, ныла, то требовательно, то робко, то настырно и гневно, то, приустав, переходила на осипший плач...

Мы забыли о своих сухогрузах, соседях по песку, отложили недочитанные гламурики и стали мысленно помогать заблудившемуся дитяте – это птичье существо вело себя никак не по-взрослому! А что там за одиноко притулившаяся в тени волнолома? Бело-серо-голубоватая чаечка, традиционно равнодушно покачивающаяся на воде вон под теми коричнево красными валунами волнолома? Сидит себе на воде, и сидит... Задумалась о своём, или так же, как и мы, приводнилась на заслуженный отдых между вторым завтраком и первым обедом? Пока она не отзывалась на вопли не так уж отдалённого соседа... Не откликнулась, пока он – плаксивый птах – её не увидел...

То, что он её приметил, мы поняли по резко изменившейся траектории его шатания по воде.

Круги оставались кругами, но каждый виток на немножко был сдвинут в сторону серо-голубоватой незнакомки... Изменился и облик бежевой птицы! Да и голос... Писк-визг приобрёл просительные интонации, зазвучало что-то унижённо-оскорблённое, но при этом же настойчиво-агрессивное...

Клюв просителя нацелился на чаечку, и вдруг широко, на удивление широко, раскрылся.

– «Какое же бессердечие не увидит этого широченного – голодно-го – клюва?»

Всё тело вытянулось в одну линию: хвостик-спинка-шейка, незаметно слившаяся с головкой...

И эта струна заканчивается голодным КЛЮВОМ! Клюв молил, дока-

зывает, убеждал, требовал, пронзительно и пискливо крича, временами подвывая, скрипя и сипя... Вот таким же звуком мучает нас скрипочка в ручонках пятилетнего музыканта ... Никой радости, но только лишь сочувствие... (я вдруг вспомнила концерт малолетних скрипачей берлинской музыкальной школы; мы тогда привели на него свою пятилетнюю Ларису – именно Ларисе всё очень понравилось – и зал, и скрипачи и даже музыка, хотя больше всего стакан горячего шоколада с ореховым пирожным).

Я думаю, и наш герой не отказался бы от орехового пирожного...

Пока же он подплыл совсем к серой чаечке, такой маленькой, по сравнению с этим бугаём... Но «птах» уже трётся своим бочком о её крыло... И, похоже, втёрся в её доверие.

Он что-то доказывал чаечке, почти прижавшись своей головкой к её, чайка недовольно отворачивалась, что-то негромко (не нас ли стесняюсь?) выговаривала здоровому оболтусу, даже клювиком его пощипывала и, якобы! отгоняла, но сама никак не улетала! Более того: с каждой «гневной тирадой» – «и бизнес у тебя провалился, и личную жизнь не наладил, и ленив как в цыплячем возрасте – пора бы и повзрослеть» (всё на чаечном языке, разумеется) сама серо-голубая птаха медленно приближалась к бережку!!!

И тут, вступив вместе с нею на земную (песочную, если быть точной) твердь, наш крапчатый проситель перешёл в атаку!! Его клюв стал активно «целовать» клювик чаечки (а как ещё понятней обозвать это приставание клювика к клювику?)... Дамское терпение, похоже, лопнуло...

С каким-то рыкающим звуком серая чайка раскрыла свой нежный клювик, и оттуда вывалилась какая-то салатная масса сероватого цвета – и ... Наш чай получил на-чай! Мигом – как голодная чайка – он набросился на щедрую жвачку-подачку и «сглотнул» её не жуя!

И вы думаете – успокоился? Не тут-то было!

Прежним просящим визго-писком он стал выпрашивать добавок! Все виденные нами приёмчики обольщения «слабого женского сердца» опять пошли в оборот, но увы! На этот раз разжалобить старыми методами жиголо не удалось.. «Нет! Нет! И ещё раз нет!»

Однако, похоже, время ухода нашей чаечки за кулисы ещё не пришло, а уступок с её стороны тоже не намечалось... И тут-то Клянча (вспомнив прежнее или сымпровизировав) решил обольстить «даму» новым манером... Отойдя от чайки на пять - десять чаечных шагов

Клянча – (мы заслужили право так его теперь величать!) – начал (мы не могли поверить собственным глазам) – ТАНЦЕВАТЬ!!! Вначале он прогнулся, встал в позу «пордебра», затем сделал правой лапкой круг по песку, изобразив «рон дежамб партер». Совсем профессионально...

Увы, никакой позитивной реакции кормилицы... Решив добавить очарования, Клянча совершил «рон дежамб анлер», проделав на этот раз левой лапкой круг по воздуху!! Делать «фуэте» и влево и вправо мог только либо «балерун» очень хорошей выучки (школы Васильева или Малахова), либо очень проголодавшаяся птица... Но попрежнему никакого позитива... И начался каскад «арабесок»... Прыжки с отрывом лапок от песка («сотэ»)... Затем «эшапэ» с изящной и смелой разножкой... И «лёд тронулся!» – «Кормящая» птица неспешно развернулась и приблизилась к танцору... Медленное адажио, переходящее в тающее фондю вознаградилось очередной порцией рыбного салата!! Слава чаечному Богу: ещё одной голодной птичкой стало меньше...

Ну, а дальше? А где же интим? Где вознаграждение за щедрые женские слёзы?

Нам не показалась их встреча ни первой, ни тем более случайной! По-видимому, прибрежные валуны были этой парочке тайным любовным гнёздышком... Но «реализации» любви пока-что и не видно... Мадам соизволила накормить юношу от всех щедрот своего часечного сердца, а где же продолжение? Неужто наш Клянча такой бессовестный эгоист? Ох, уж эти мужчины!

(А вдруг их различие в окраске препятствует дальнейшему сближению?)

Опять пойдёт разговор о «расовой неполноценности»?

Или это всего лишь боязнь мезальянса?

Сударыня подкормить соизволили, ну и будет с вас, шалунишка!

Как у них там, в мире животных? Экологическая целесообразность – взамен нашего аристократизма?

Пока мы философствовали на эти нравственные темы, наши птички героини расплылись кто - куда... «Она» меланхолично заплывала за каменный волнолом и пропала, а юный попрошайка ещё поболтался в воде около берега, затем резво закружил куда-то влево и !!! ... оттуда опять мы слышали знакомый и уже поднадоевший клянчуший, пискляво-противный вопль изголодавшегося Клянчи... Мир не без добрых чашек, поняли мы, и нам почему-то стало и грустно и неинтересно...

А курортный день тем временем угасал... Он уходил торжественно

и молча, меняя свои одежды с каждой минутой... Самый важный из актёров – вечернее заходящее солнце – повторило одну из сумасшедших картин Дали: расколотая яичная скорлупа, окружающая оранжево-жёлтый солнечный шар. Но солнце, пересёкшее за день наш фиорд и начавшее прятаться за синеватым лесом на противоположном берегу, уже стало алеть, потом краснеть, затем бордоветь; шаловливые облака-тучки прилепились к диску, их число и размеры всё возрастали; диск пытался уйти от них под землю, а тучки догоняли его – кто быстрее...

От воды понесло синевой и прохладой...

Вечер падал на нас и сопротивляться ему стало бессмысленно.

Пора уходить.



ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

ЧЮРЛЁНИС

Запасаются альбомами Чюрлёниса
и уходят вдоль газонов слепящих.
Запивает его чаем чаевница,
забывает на пляже купальщик.
В нем находят много спорного и странного
(Что-то там искусствоведы накрутили!)
Им ответь, как на уроке иностранного
языка: а что мы видим на картине?
Как сваты, что вековуху сосватали,
судят вслух и про себя о нем двояко:
– Да, велик! Но что он бился над «Сонатами»?
Не свихнулся ли на «Знаках зодиака»?
Ну, положим, философские искания,
но кому нужна условность эта?
Извините, даже живопись наскальная
никогда не отрывалась от предмета.
Дайте ключ всем сУдящим и рЯдящим,
чтоб решать картины, как кроссворды.
Да, велик! Но жить с курортом рядышком
и не отразить его красОты... –
У Чюрлёниса того и в мыслях не было.
Рисовал он то дворцы, а тодомишки.
А искомый ключ на дне родного Немана,
но его не разглядеть с купальной вышки.

* * *

Эмиграция – такая суета,
в суете проносишь ложку мимо рта,
не упомнишь ни дворцов, ни базилик,
как насмешка над родным, чужой язык.

Эмиграция идейною была,
била в «Колокол», во все колокола.
Эмигрантом был и сам великий Дант.
Измельчал наш престарелый эмигрант.

Так устал от груза пройденных дорог,
изболелся, исстрадался, изнемог,
что решился: «Закругляться буду тут,
где дожить по-человечески дадут».

Интересно, посещал ли грозный Дант
многошумный, как базар, социал
получал ли кучку фунтов Искандер*,
будто вышедший в тираж пенсионер?

Наш везде поспеет... Зная что почём,
растолкнет сородичей плечом,
сэкономит, чтоб не только есть и пить,
но на мир взглянуть и книжицу купить.

«Тамиздаты» прогремели и прошли.
Кто теперь тут единицы, кто нули?
Человек нигде не может быть нулём
ибо Божий дух струится в нем.

Эмиграция, конечно, суета,
но открылись проржавевшие врата,
и в чужое небо впаян, как брильянт,
битый жизнью, но живучий эмигрант.

ПАРК НИМФЕНБУРГ ЗИМОЙ

И боги, и богини, и герои
упрятаны от стужи в короба,
щитами крыты, как стволы корою,
заключены в стоячие гроба.

Обманутым январской стрижкой веткам
не зацвести, и ты их не тревожь.
Как из седых волос, ушла с пигментом
вся их упругость, лепота и мощь.

Не бьют фонтаны, не пылают розы,
изрыл газоны кропотливый крот,
земля черна и даже не промёрзла,
что так привычно для иных широт.

Удобно быть одной из иностранок:
идешь и говоришь сама с собой...
Белеет снег салфетками на ранах,
зимою нанесенных, как судьбой.

КАРТИНА АЛЬФОНСА МУХИ «ЗВЕЗДА»

У Сары-дивы** в пажах почти.
Волос извивы рисуй и чти.
Ходи в счастливых от ярких вежд,
от взбитых сливок её одежд...
Нет, то не дело - он не холуй.
Плакаты смело давай малюй.
Он тот, который везёт за двух:
моравский норов, славянский дух,
окрайны житель, где пьют и бьют.
Освободите народ от пут
австро-венгерских, от лютой мглы,

привычек зверских и кабалы!..
Мир дивований исчез, погас,
век надевает противогаз,
выюнов и лилий прошел черед.
Освободили другой народ...
Вот он в России.
Из глубины
встают витии и колдуны.
Ночь. Снег. Луница, вся в пелене,
с нарядной нищей наедине.
Сидит как села, ее наряд
дик. Очумелый у бабы взгляд.
Ты кто - крестьянка? Купчиха? Нет.
Ты - каторжанка грядущих лет,
вождям не дочка и не сестра.
Что там за точка из-за бугра?
Зеленых, волчьих гляделок - шесть.
Порвать ли в клочья?
Живьем ли съесть?
А за туманной полоской льда
крупницей манной горит звезда...
Рукой не двину, смотрю, дивлюсь,
вот-вот в картину переселюсь,
на землю грохнусь. Снежок. Тепло.
Смерть - это роскошь, мне повезло.
Слезинку выжму.
Идти - куда?
И не увижу, где там звезда...
Художник - старый, он знаменит.
Гестапо карой ему грозит.
«Успел зазнаться, ишь, плакатист!
Он перед наци вдвойне не чист:
славянскойковки, как прочий люд,
у той жидовки был лизоблюд...»
А где звезда-то, его звезда?
Идут на запад все поезда.

«А мне - до дому, мне - на восток!»
Шлагбаум, кома, приклад в висок.
И так счастливо из-за кулис
с улыбкой дива:
«Альфонс, молись!»
...Убит в залятом, как темный лес,
тридцать девятом
рукой СС.

* * *

Что вместила жизнь моя,
что, прощаясь, вспомню я?

Парту с вырезанной ножиком
репкой сердца.
Солнце с дождиком.
Поболтай в реке ногою,
комара согнав другою...
Что потом?
Потом, из дома
жгучей силою ведома,
в поезд – прыг,
на катер – прыг,
наступает важный миг.
Юг. Истома полнолуныя...
Век спустя Тото Кутунья
не в Пицунде – в Юрмале
спел про страсти юные,
про мужчину с женщиной.
Та пластинка с трещиной...
Что еще?
В канун Крещенья
блюдца странное вращенье.
Круг. По кругу – алфавит.

Дух с живыми говорит.
Он всезнанием не бравирует,
все вопросы игнорирует
и, увидев наши лица,
заклинает нас молиться...

* Литературный псевдоним А.И.Герцена.

** Сара Бернар.

ЛЕОНИД СЫСОЛЕТИН

КВАЗИИСПОВЕДЬ

Вообще-то, мне в жизни везло.

С моим характером, дожить до семидесяти лет без телесных повреждений, ни разу не взглянув на небо сквозь тюремную решётку, - это уже везение.. По гороскопу я – Весы, но взвешивать последствия своих действий и поступков мне всегда мешало нетерпение.

Я шёл по жизни напролом, не разбирая дороги, не глядя по сторонам, и только Случай, в последний момент спасал меня от беды. Если учесть при этом отсутствие меры в употреблении спиртных напитков и многочисленные романы с замужними дамами, то везение это казалось просто мистическим, будто оберегала меня какая-то потусторонняя сила. В этой жизни я нигде не чувствовал себя дома, вроде засиделся где-то в гостях; время позднее, хозяевам я уже надоел, они мне тоже – и мне пора уходить.

Во всём было ощущение чего-то временного, что рано или поздно должно было кончиться, как и сама жизнь. Старость, как стадию жизни я отвергал.

*В годы юные дерзкую мысль я имел,
что Судьбу я подвергну обману.
Жизнь свою проживу, как другие живут,
но в конце её старым не стану.*

*Я решил, что прерву её нить в тот момент,
когда немошь почувствует тело.
Но свершить это с помощью яда, петли
посчитал за греховное дело.*

*Я представил, как к Чёрному морю приду,
как спокойно шагну в его воду,
и, по компасу, строго на юг поплыву,
выбрав бурную, с ветром, погоду.*

*Я внушу себе мысль, что реально смогу
я до Турции плыть, и достигну
её берега, Чёрное море проплыв,
за спиною оставив отчизну.*

*Буду плыть, пока хватит мне воли и сил
к фантастически выбранной цели,
и инстинкт о спасении гнать от себя,
чтоб сомнения мной не владели.*

*В обречённости руки свои не сложу,
до финала я двигаться буду.
Но, чтоб Чёрное море мне вплавь одолеть...?
смутно верилось мне в это чудо.*

*А когда мои силы иссякнут в борьбе
с равнодушным к судьбе моей морем,
я из жизни уйду не как дряхлый старик,
со стихией и волнами споря.*

Когда до моего семидесятилетия оставалось сорок шесть дней, я, приняв изрядную дозу спиртного, решил, что пора, наконец, осуществить мой дерзкий замысел. Чёрное море было, правда, далеко, но на худой конец, могла сойти и река.

*Самкнётся надо мной вода
и выпустит без всплеска душу.
И никому уже тогда
покой я больше не нарушу.*

*Ни памятникам, ни крестам
не будет адрес мой отмечен.
А спор о смысле бытия
всё также будет бесконечен.*

Алкоголь безраздельно управлял моим разумом. Я поехал на один из берлинских вокзалов, не помню какой, купил в кассе билет до Франкфурта-на-Одере, намереваясь сойти с поезда где-нибудь на промежуточной станции, где есть река, и там покинуть этот мир, оставив после себя безымянные неопознанные останки, избавив тем самым кого-либо от забот по захоронению того, что раньше было мной.

Покинув поезд на станции Фюрстенвальде, я направился к берегу Шпрее и надёжно спрятав в прибрежном парке документы и всё, что могло идентифицировать мою личность, заплыл на середину неширокой реки, выдохнул из лёгких воздух, нырнул на глубину и сделал глубокий вдох под водой. В следующий момент какая-то сила, очевидно инстинкт самосохранения, вопреки моему желанию, исторгла из меня поглощённую воду. Совершенно трезвый, вынырнул я на поверхность.

Боясь, что капли, оставшиеся в дыхательных путях, вызовут губительный кашель, я, сколько мог, не делал вдоха, но сила, вытолкнувшая воду из моих лёгких, сама сделала это за меня. Вдох получился глубоким и чистым. И тут же моё подсознание получило от того, кто без сорока шести дней, семьдесят лет и хранил меня от беды, грозное предупреждение:

«Мне надоели твои фокусы. В последний раз я спас тебя. Больше на меня не рассчитывай. Я покидаю тебя навсегда. Прощай»

Прошло два месяца... Я продолжаю жить, как-будто ничего не случилось, но всё же, что-то резко изменилось во мне. Алкоголиком я себя не считал, но выпить в компании готов был всегда. Случалось это не так уж часто, но любого размера сосуд с водкой при этом, в моём восприятии, казался недостаточно большим. Во мне жила какая-то ненасытность на спиртное. Начав пить, я терял над собой контроль и часто напивался до безобразия.

Удивительно, но после моего «крещения» в Шпрее, я почувствовал полное равнодушие к алкоголю. С тех пор я не выпил ни грамма спиртного, хотя подходящих моментов для этого было предостаточно. Что же произошло? Я не давал себе мысленной установки – «не пить!» Я не проявлял никакого усилия воли для воздержания. Может быть, я испугался повторения акции в пьяном виде? Ничего подобного. Временами я даже сожалею, что не сделал тогда второго, заключительного, вдоха под водой.

Я просто почувствовал в тот день, в отношении к алкоголю, нечто

похожее на презрение к предавшему меня другу. И я принял жизнь такой, какова она есть, со всеми её коллизиями и законами, нарушать которые ни кому не дано права, при этом оставаясь безнаказанным.

Берлин, октябрь, 2006.

Р. С. «У воды есть «память», т.е. вода, благодаря триединству своей структуры, способна запоминать любую информацию Природы. Феномен структурной памяти воды, который экспериментально доказали японские учёные, позволяет воде впитывать в себя, хранить и обмениваться с окружающей средой данными, которые несёт свет, звук, любое физическое поле, мысль и обычное слово человека».

Источник: «Триединство воды. История о воде» Энциклопедия. Aga Expert. Ru.



ИГОРЬ КОГАН

* * *

Где же, теперь моя радость...
Где же, теперь моё горе..
С чем мне смириться надо
Чтобы не взвыть от боли...

Пусто... так пусто... так пусто...
Только сквозняк со свистом
Стынет в душе закоулистой
Призраком кентервильским...

Пусто... так пусто... так пусто...
Холодно... холодно... холодно...
Изморозь – смачно – с хрустом –
Режет подкорке горло...

МОЛИТВА

Пять утра.

Небо такое спокойное, глубокое и чистое, что если очень постараться можно увидеть Бога...

Господи, хорошо бы стать небом и твоим домом – такой тихой, родниковой бездной...

И живут во мне облака, и летают во мне самолёты, и птицы переливаются журчащими трелями...

Господи, почему ты не создал меня небом, деревом, травой, птицей, кошкой, или собакой?
Почему я не могу петь, или хотя бы чирикать?
Почему я не могу спокойно расти и зеленеть?
Почему я не могу, сгорая от любви и преданности, лизать руки хозяина, или мурлыкая свернуться калачиком у его ног?
Зачем ты создал меня человеком?
Ну что плохого я тебе сделал?
За что ты меня так наказал?
Почему я должен прятаться, притворяться, говорить не то, что я думаю и думать не то, что я говорю?
Почему я должен вести себя так, как хотят этого другие, и говорить, только то, что хотят от меня услышать?
Что бы жить легче и лучше?
Но ведь это надо уметь!!!
Уметь видеть людей насквозь...
А я не умею...
Слыхал, небось, какую про тебя байку сочинили – «Чего Бог не дал, того в аптеке не купишь».
И ещё – «Хорошо, что бодливой корове Бог рог не даёт».
Не дал ты мне, Господи, ни мудрости, ни рогов.
Хотя, быть может, насчёт рогов я сильно ошибаюсь.
Может они и есть, кто знает...
Но ежели и есть, то не твоя это, Господи, заслуга.
Не ты мне их, Господи, наставил.
Да и рога-то не те... так одна декорация... ими не забодаешь...
Хоть бы завистью наградил что ли – злобной такой завистью – чтоб ночами не спать, мучиться...
«У него есть, а у меня нет. Вот скотина! Да что б он издох!
Да что он! Чтоб и детям его! Да чтоб им всем из рода в род!
Да чтоб бабе евойной сто лет носить не сносить!
Господи!!!
Да что ж ему, паскуде, сделать такого, что б он по миру пошел...
Умный подлюга – не тронешь, не посадишь, не предашь...
Заказать его что ли...
Сейчас, говорят, сто евро дашь в зубы – и замочить могут»...
Господи... Я тебе не надоел? Ты от меня не устал?
А я от тебя? Как ты думаешь?...

* * *

Ножницы-реженцы – резать приверженцы –
Чик-чирик-чик..

Ножницам нравиться – чик-ЧЕГЕВАРЭться
Чик-чирик-чик...

Клювики острые – снятся погосты им –
Чик-чирик-чик...

Боль мою ножницы взяли в заложницы –
Чик-чирик-чик...

Лезвия тонкие – холодно-звонкие –
Чик-чирик-чик...

Жаркое солнышко чик – и по горлышку –
Чик-чирик-чик,..

Кровушка липкая с горлышка хлипкого –
Чик-чирик-чик...

Красными каплями нимбы окапала –
Чик-чирик-чик...

«Кто ж это, Господи, красною проседью
С неба сошел?...

Чик – и головушки сиротам-вдовушкам
Сыплет в подол?...»

«Хватит лелеаться – смерчем-метелицей
Грешную плоть...

Молодцы-девицы больше не сеются –
Время полоть.

Не поздоровиться ползать-елозиться –
Ваша вина.

Я – вседозволенный – пал вам на головы
Пейте до дна.

Дроги-дороженьки – реженки-ноженки –
Чик-чирик-чик...

Божий поверенный выдал по вере вам
Чик-чирик-чик...

«Светлую веточку в комнатку-клеточку
Ветер занес...
Только вот не к кому... кто-то навек мою
Душу унес...
Лезвия тонкие – холодно-звонкие –
Чик-чирик-чик...
Реженцы-ножницы взяли а заложницы
Боль мою...
Чик...

* * *

Облака перистые, быстрые и шустрые,
Родниково-чистые, синевато-грустные,
Мешковато-пухлые, слезно-водянистые,
Рыхлые, пожухлые, скользкие, ветвистые,
Солнцем опаленные, ветром разлохмачены,
Плазмой предзакатною в горизонт охвачены...
... след от перехватчика в узелок завязан...
... я сижу... и водку пью...
... с фонарем под глазом...
Я бы жаворонком спел в высоте развесистой,
Если б, только, не имел задницы увесистой.
Не берет она в расчет, что мне к звездам хочется...
... жизнь, как то, все течет...
... как то, все волочится...
Выпью водки! Выбью глаз зеркалу шербатому!
Сто миров, прибодрясь расщеплю на атомы!
Разговеюсь! Разверчусь!
Лазерной капелью брызну в Вечность...
... и очнусь...
... утром...
... рядом с дверью...

... РАЙКИН

Театр – это театр... и без суматохи ему не обойтись. Она его кровное дитя, его вечная молодость, его будни и его поэзия. Суматоха и священная тишина... за пять минут до открытия занавеса.. Непременный участник суматохи – яркая и сочная театральная пыль, наполняющая собой все – самые затаенные уголки театра. Мягкая, пьянящая, блистающая в лучах прожекторов всеми цветами радуги, бессмертная властительница сцены, старая, почтенная театральная пыль. Она высокомерно восседает на декорациях, таинственным, невидимым налетом покрывает костюмы королей, принцев, герцогов, государственных деятелей – словом царит всюду, где хоть чуть-чуть – по-настоящему пахнет театром.

«...повторяю! До начала спектакля осталось пять минут. Всех актеров, занятых в первом акте, прошу на сцену».

Суматоха затихла. Распласталась на растянутых половиках. Развесилась на боковых кулисах. Бессильной немотой повисла в воздухе. Рядом с ней величественно опустилась пыль. Широкие жерла прожекторов торжественно застыли в почетном карауле...

«Внимание! Убираем свет в зале».

Хрустальная люстра глубоко вздохнула и... растаяла в темноте, словно угасающий фейерверк. Театр опустился в густую тишину, изредка нарушаемую гулкими шагами опоздавших зрителей, торопливо пересекающих полу сумрачные фойе.

Томительные, замирающие секунды...

И в эту тишину входит Он – среднего роста человек – с измученными сверкающими глазами – седой и сутулый. Он идет так медленно, словно пытается растянуть те – быть может, недолгие секунды, которые остались ему в жизни. Пройдя мимо замерших людей, Он останавливается у режиссерского пульта и тихо здоровается. Так Он стоит некоторое время, опустив голову и глядя в пол... Неожиданно рука его дернулась и вцепилась в край кулисы. Он пошатнулся... Тревожно взметнулась пыль. Резко – словно от удара, качнулся в сторону луч прожектора, хлестнув бледным, белесо-синим светом по застывшим лицам. Тишина напряглась до предела... «Это ничего», печально говорит Он рванувшимся к нему людям, «это не страшно, это прой-

дет» и кивает головой помощнику режиссера – «начинайте».

Тяжелый занавес дрогнул и медленно, точно нехотя, раскрыл сцену. Мгновение и она слепяще заискрилась, благодарно отзываясь на всплески аплодисментов – раскинулась перед зрителем, словно женщина, принимающая мужскую ласку...

И вдруг – уже не Он, а Тот, кого ему предстояло сейчас сыграть, растет, распрямляется, раздается в плечах, под несмолкаемый грохот аплодисментов в зале и жуткую тишину за кулисами. Становится страшно. Кто-то всхлипнул и быстро отошел в сторону...

Еще секунда и он твердым шагом выходит не сцену.

Театр – это театр... и без суматохи ему не обойтись...

И без пыли тоже... и без тишины...

* * *

Тихая, светлая, чистая, зреет зачатая новь,
Прежняя, стылая, мглистая жизнь свернулась, как кровь.
Схлопнулась... Спешилась... Съежилась...
Старчески губы поджав –
Серенькой песней скукожилась, внутрь себя убежав...
Скорчилась... Скрючилась ... Снизилась...
Лишь бы не видеть, не знать...
Мышью в подкорку затиснулась –
Сгнить... Стушеваться... Слнять...
Стаять... Стереться... Смириться...
Сгинуть... Свернуться... Застыть...
Мертвой водой окропиться...
Струпья засохшие смыть!..
СМЫТЬ!!!
И живою зарницей вырваться!...
Вновь зазвенеть!..
Вновь через край перелиться!...
Вновь – вновь ослепительной птицей!...
Вновь – как и прежде...
СГОРЕТЬ!!!!...

ТРИПТИХ

Далекая, звонкая песнь...
Счастливый младенческий крик...
По млечному, звездному плёсу
Взабрызг, напролом, напрямик,
До крови, до пота, до пены,
До боли, до хруста костей...
Непознанный голос Вселенной,
Все ближе, светлей и ясней...

* * *

Из воплощенья в воплощенье
Скользит моя душа...
Скользит, скитаясь по Вселенной.
Едва дыша,
слежу за ней,
И постепенно все ярче свет
Моей частицы. Зов нетленный...
Сиянье необыкновенных
грядущих лет...

* * *

Чем раньше человек начинает ждать весну – тем ближе он к старости...

Было время – я сходил с ума недели за две – от предчувствия какого-то огромного, рыдающего счастья... Сломая голову бросался навстречу последним февральским ветрам, в исступлении повторяя одни и те же бесконечные строки – живите «на разрыв аорты... с кошачьей головой во рту... Три чёрта было – ты четвёртый – последний, чудный чёрт в цвету».

Приближение весны действовало на мою – тогда ещё бессмертную душу, как наркотик... и, видит бог, я хотел чтобы оно длилось вечно... Ибо предощущение – бесконечно и полно тайн..., а свершившаяся радость – просто факт, в нём нет места фантазии.

Если жизненный опыт – хитрый, осторожный, расчётливый старик – развенчивает мечты, то житейская мудрость – единоутробная сестра упомянутого старца – просто шлюха – ей не до фантазий...

Вот и мне, уже, просто факт – гораздо дороже каких-то там ощущений... Что делать мне с синей птицей – она бессмертна – я нет... Весну я жду не с конца февраля, а с начала осени...

Пройдет ещё немного времени, и я перенесу этот срок на первый месяц лета, а потом... потом я буду ждать её всегда...

И всё же – что-то не умрёт – что-то не умрёт во мне никогда...

И в самые высокие минуты своей жизни я не устану повторять одни и те же бесконечно-безумные строки – живите «на разрыв аорты... с кошачьей головой во рту... Три чёрта было – ты четвёртый – последний, чудный чёрт в цвету».

МАРЛЕН ГЛИНКИН

СТАРЫЙ ФОТОГРАФ

В Берлин пришла весна. Трепетный ветерок, ласковые солнечные лучи обволакивают белоснежные факелы цветущих каштанов, а вокруг звучат салюты поцелуев, которыми влюблённые приветствуют приход весны. Влюблённые повсюду – на набережных Шпрее, в парках, на улицах и площадях...

И только Марк Анатольевич прогуливается сегодня в «гордом» одиночестве, без заболевшей супруги. Подойдя к парапету набережной, он обратил внимание на одинокого старика-фотографа. Тот был явно подслеповат. Он что-то подкручивал на старенькой фотокамере, установленной на штативе-треноге, почти наклонившись к ней носом, доставая из нагрудного кармана другие очки, надевал их вместо предыдущих, поднимал голову и, щурясь, вглядывался в горизонт...

Огромный, бледно-вишнёвый солнечный диск опускался ниже, к самой воде, сплющиваясь в эллипс. Марк Анатольевич пристально вглядывался в профиль фотографа, медленно приближаясь к нему с тыла. Оказавшись за его спиной, он командным голосом произнёс: «Товарищ чекист, руки вверх! Вы арестованы!». Тот замер, словно окаменел. Но указательный палец его правой руки, этот самостоятельный живой орган, нащупал спусковой крючок и нажал на него. Раздался сухой щелчок затвора фотокамеры.

– Марк Гриншпун? Ты ли это? – повернувшись, дрожащим голосом, спросил фотограф.

– Майн гот! Надо же, узнал! По голосу узнал! Ну и память у тебя, Николай Иванович! А ведь сколько лет прошло...

– Ты же, вроде, в Париже был?..

– Да, был. Но последние пятнадцать лет живу здесь, в Берлине. Ты-

то какими судьбами? По какой линии здесь? Ты же таким патриотом был... да и в евреях не числился...

– Сын вызвал. Женился на немке и выехал на Запад. Жена моя померла, в Москве у меня никого не осталось, а у него здесь семья, дом. Правда, внуки по-русски – ни гу-гу.

Солнце, между тем, утонуло в реке, розовое небо стало быстро бледнеть.

* * *

– Кажется, успел сделать один кадр, – сказал Николай Иванович, пряча камеру в сумку и складывая штатив. – Взволновал ты меня, Гришпун, своей шуточкой. Думал сердце выскочит. Даже затошнило немного. Там ведь и уморить человека можно.

– Когда ты меня из психушки в аэропорт конвоировал, вот тогда я бы тебя с удовольствием... а сейчас даже смешно.

– Не из психушки, а из института судебной психиатрии имени Сербского. И не конвоировал, а сопровождал. Как провожающий друг... Как было тебя одного отпустить, если от вашего брата-диссидента чего угодно можно было ожидать...

Два старика – толстый и лысый Гриншпун и худощавый, светло-волосый бывший чекист побрели, спокойно беседуя, по набережной Шпрее, обходя влюблённые пары.

– Скажи честно: ты тогда понимал, что это были мои убеждения, а никак не вяло текущая шизофрения, – спросил Гриншпун.

– И да, и нет. Я, конечно, видел, что ты не псих, но всё твоё поведение, эти протесты, казались мне странными, что ли. Я нормой считал такое поведение, которое было присуще большинству людей...

– То есть равнодушие, пьянство, мелкое воровство на производстве и крупное – в верхних эшелонах власти. А если человеку стыдно за страну, если он понимает, что нужно и можно жить иначе, то это по-твоему, странно?!

– Не заводись. Все в прошлом. Вы хотели свободу – получили, чего хотели.

– И вправду, получили. Но сегодня Россия интересна всему миру именно тем, что она не справилась со свободой. Верно Путин сказал, что «свободы в России никогда не было, так что не о чём и жалеть».

Страна не доросла до свободы и демократии, хотя на Западе эти два понятия – единое целое – перебил чекиста Гриншпун.

– Да, сегодня и с гражданским обществом почти закончено. Раньше нам нужен был «вперёд летящий» паровоз с остановкой в коммуне, а сегодня... – продолжил Николай Иванович, – многие ностальгируют по советским временам и чуть-ли ни треть избирателей голосует за коммунистов. А ваше диссидентское движение к концу восьмидесятых – ты понял? – практически сошло на нет. Одновременно с демократией. Правда, незадолго до этого меня выпихнули в отставку. Да ладно, что уж там. Расскажи лучше, как ты жил после высылки.

– Мне повезло. Я ведь не профессиональный литератор, как Синявский и Даниэль, как Солженицын и Довлатов. Я учёный. И языки знал. Устроился, практически, по специальности в фирму «Симменс». Потом перешёл в университет – преподавать и работать в лаборатории. Женился на хорошей женщине. Она русская, но никогда в России не была. Сейчас я от дел уже отошёл. Так, иногда консультирую. Денег, за эти годы, собрал достаточно.. Да и пенсия приличная. Во много больше, чем получал бы в России. Мы с женой весь мир объездили. Правда, кроме России. Пусть говорят, что сейчас это уже совершенно другая страна. Но я, как погляжу, думаю: разве мы рай покинули? Со всеми их процентами немыслимого роста, нефтью, газом, реформами и красотками, быстрыми деньгами и стремительными пулями не получается там Города Солнца. Не так уж хорошо там, где нас нет! И вовсе не так уж скверно, где мы есть!

– То есть, Марк Анатольевич, высылка пошла тебе на пользу?

– Трудно сказать, господин бывший чекист... Очень всё протекало болезненно. Я тогда думал, что эмигрировать, всё равно что жениться на женщине, которую никогда не видел. Вам показали фото – большие томные глаза с поволокой, высокий лоб, локоны, чувственный рот. Правда, на фото рот закрыт. А потом он раскрывается – а вы уже женаты. В первый год «забугорной» жизни ностальгия мучила. Разочарование. Соотечественники, превращённые из бывших там евреев, здесь, в русских... Ну, как пауки в банке. Все сплошь профессора и главные инженеры, все Берлин брали и Знамя Победы над Рейхстагом водружали... им всем немцы до сих пор должны... Ну, а ты, как?

– А я, в первые годы ельцинского правления, немного соприкоснулся с ново-русским бизнесом. Когда вы по заграницам разъехались,

нам в «конторе» заниматься стало нечем. Пошли сокращения, меня в отставку задвинули. Но, сам понимаешь, связи остались. Устроился в службу безопасности совместного американо-российского предприятия. Методы работы те же, а зарплата «зелёными». Босс – бандит чистой воды, но под крышей моей бывшей конторы. Всего навидался. Правда, в отстрелах конкурентов не участвовал, но оперативной разработкой занимался постоянно.

– Веришь или нет, но наша бухгалтерша, под охраной, из банка зарплату привозила двумя чемоданами... А потом босса в Нью-Йорке чеченцы пристрелили. Друзья из «конторы» посоветовали мне уйти в тень. Устроился консультантом в Министерство культуры. Фильмы консультировал. Потом расхворался, напомнили старые раны... А дальше ты знаешь. Я тебе, вкратце, всё изложил о себе. Кстати, я тебя в прошлом году видел на концерте Кобзона, но не решился подойти,

– А ты и на концерты ходишь? – перебил Гришпун.

– На Кобзона хожу. Его песни о прошлой жизни напоминают.

– А живёшь здесь где? – задал вопрос Гриншпун.

– В Вединге. Рядом с Леопольдплатц.

– А я в высотке, возле «Урании», где мы с тобой Кобзона слушали. У меня большая терраса на крыше – сказочный вид на Берлин. Приходи в гости, посидим, по рюмочке шлёпнем, повспоминаем...

– С удовольствием, но по рюмочке мне нельзя – аденома.

– Будешь смеяться, но у меня тоже. Вот и обменяемся опытом.

– Знаешь, Марк, я давно хочу сделать фотографию центра Западного Берлина с верхней точки, чтобы разрушенная церковь на Кудаме была видна. Давай телефон.

– Да, помню – помню, ты ещё тогда фотографией увлекался. Как ловко ты снял меня на Кузнецком мосту, когда я у спекулянта книгу Солженицына покупал. И моё лицо на снимке чётко получилось, и обложка книги «Раковый корпус». Кстати, тот спекулянт был из ваших?

– Ну конечно. Вас, доверчивых, с поличным брали.

Я так и думал. Ну, звони, не стесняйся. Под одной крышей теперь живём. Бери свою камеру и приходи. Завтра, вроде, опять хорошую погоду обещают...



СЕМЁН ЛУРЬЕ

КОГДА НЕТ К ЛИРИКЕ ЧУТЬЯ

*Прагматики не верят ни во что.
Романтики ещё во что-то верят*

Когда нет к лирике чутья –
одно воображенье,
то сколь бы не пытался я
начать стихотворенье
строкою боли, слёз и мук,
со смерти и бессмертья,
не одолеть мне зимних вьюг
к восьмидесятилетью.

Печаль на время обойдя
строкой очарованья,
душа романтика-дитя
не терпит расставанья
с осенним золотом в листве
и с вешнею капелью,
со счастьем сна в густой траве
под фронтовой шинелью.

С сарказмом острого гвоздя
лиричность отвергая,

с высокомерием вождя
взлетает гордо стая
крутых прагматиков, сплеча
которым непривычно
в строке услышать песнь ручья
и в ритме мелодичность.
Когда нет к лирике чутья,
они замену сыщут –
остротой скрасят пепелище
от суеты и бытия.

* * *

*Когда бурлит от страсти кровь,
Когда глаза налиты кровью,
Не думай, что пришла любовь,
Не перепутай секс с любовью.*

С.Лурье

В соревнованьи по экстазу
между забавою и делом..
Критическим сегодня глазом,
я душу оценю и тело.

За вспышкой глаз души не видно,
взлетают вверх качели страсти,
несётся вскачь судьбы коррида,
ты над душой своей не властен.

Тореадор иль бык – не важно.
представь, что страсть кипит в обоих,
что одноместным экипажем
воспользовались сразу двое.

Над мыслью, тающей в сознании
глумятся, празднуя, инстинкты.

Речь переходит в бормотанье,
а после следует постскриптум:

Смешай душевное с телесным
в ритмичном «Болеро» Равеля.
Но коль припрёт – всё бесполезно,
как в декабре, так и в апреле.

ВЫЧЕГДА

Над рекою Вычегдой
Ветер тучи вычертил
Век двадцатый вычислил
Старость и недуг.

Вглядываюсь смолоду
Меж Серпом и Молотом.
Как летят за городом
Журавли на юг.

Собирал мгновения
До возникновения
Первого падения
В прошлогодний снег.

С Вычегдою-реченькой,
Со свечой в подсвечнике,
Тщетно веки вечные
Встречи с ней ищу.

Где-то плещет Вычегда,
Что из сердца вытекла.
И молчит ночная мгла,
Погасив свечу.

ПАСТОРАЛЬ

Ещё до тихой «Пасторали»
Мы все давно перестрадали
Пятью твореньями чудес,
Как-будто бы из-под небес.

С шестой повиснет тишина,
Под «Пастораль» налью вина.
С портрета вниз сойдёт Бетховен,
Сосредоточен и раскован,

За ноты сядет. Вечереет.
Здоров и молод. Я немею
И жду Симфонии Седьмой
Меж Светом, Вечностью и Тьмой.

ИННА ИОХВИДОВИЧ

«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»

Клара была типичной еврейской старой девой, из тех, кто лучшие женские годы прожили с мамашами. Они были неразлучны: сначала мать водила девочку за ручку; позже, в парке ходили они под ручку круговыми моционами, а после увядавшая дочь выводила старуху с палкой к скамейке у подъезда.

Пытались её просватать за перезревших еврейских мужчин, но неудачно. Приходили свахи, вроде бы «на чай» с «женихами», с которыми непременно были мамы. Уходя, те как бы сердечно прощались, сговаривались о том, что надо бы ещё встретиться, поговорить, обязательно созвониться... Но ни разу больше не только не приходили, но и не звонили... Оскорблённая Клара предпочитала думать, что скорей не понравилась не этим лысеющим, пузатым либо наоборот, худосочным мужчинам, а их капризным, желающим чего-то особенного для своих великовозрастных отпрысков, мамашам.

Как стукнуло ей сорок, свахи и заходить перестали, а Клара с матерью, словно по уговору, никогда между собой и не вспоминали о них.

Наверное, это было и к лучшему. Ведь у матери любой звонок в дверь или по телефону, вызывал приступ бешеного страха, как бы чего не случилось, как бы не пришли за ними, как бы... как бы... как бы... Этот страх начался у неё давно, ещё Клара маленькой была, после «дела врачей», после упорных, слава Богу, не оправдавшихся слухов о переселении евреев в Хабаровский край, где вроде были уже подготовлены бараки, для тех, кто доедет, но особенно он обуял её после возникновения общества «Память» и подобных ей организаций...

Отец умер ещё в начале шестидесятых, и они зажили вдвоём. Почти

затворницами, ничего не желая видеть, слышать, знать, плотно прикрыв двери, сквозь которые, как через тесно сомкнутые раковины моллюска, ничего не просачивалось.

Мать умерла субботним вечером, вся распрямившись на глубоком выдохе, так что Кларе показалось, будто что-то отлетело от неё.

И наступило самое страшное мгновение в её жизни – осталась она одна!

Одиночество оказалось труднопереносимым. Она не могла ни уснуть, ни сосредоточиться, мешало всё: шорохи, шелесты, журчание воды в трубах...

Из-за вечерних страхов, переходивших в ночные, начала она часто проводить свободное от работы время вне дома. В кино, театрах, кофейнях, хоть это и было накладно, но физически существовать, одной, в четырёх стенах, она уже не могла.

Раздумывая о прожитом, она недоумевала бессмысленности собственного существования, без какой-либо цели, без близких, без ребёнка, о том, что никак не состоялась, вечная маменькина дочка, старая дева.

И эта встреча как бы только замкнула, так показалось ей тогда, череду нелепостей, что преследовали её всю жизнь. Бориса она знала давно, когда-то он приходил к ним настраивать пианино. Рекомендовавшие его знакомые хвалили его «золотые руки», но, почему-то скороговоркой и, опуская глаза, как-то невнятно бубнили о его склонности к «мальчикам». Мать тогда ещё заволновалась, ведь, сколько уж прожила она, а о таком не слыхивала, но Клара настояла – настройщик он хороший, да и брал недорого, а до остального, до его привычек, пристрастий и особенностей им и дела быть не должно.

И вот, спустя без малого двадцать лет, она встретила его. В кафе, где он тоже, как и она, в одиночестве пил кофе. И они вдруг обрадовались друг другу – старая дева и гомосексуалист.

Не договариваясь, они встречались в этой кофейне чуть ли не каждый вечер. Иногда, из-за постоянно повышавшихся цен, они брали один кофе на двоих. Он, как и она, был одинок, и тоже, как она, искал спасения на людях.

Ни один из них не рассказывал о себе, но интуитивное знание одного о другом подразумевалось. Клара испытывала к нему неясную ей самой благодарность, ведь он был единственным близким ей из всего огромного людского мира. Но последний, проведённый с ним в кафе, вечер оказался роковым.

Борис пришёл чуть позже обычного, она уже сидела за столиком

с двумя чашками. Заметила, что он несколько, по сравнению с обычным, смущён. Но, когда он из портфеля со своими инструментами, нынче он подрабатывал мелким ремонтом, вынул алую гвоздику, смутилась, до пунцовости, она.

– Клара! – обратился он и запнулся, – я хотел сказать вам, скорей не сказать, а предложить.

Он замолчал, а она не смела его прерывать. Представлялось, что прошла вечность, пока он не заговорил снова.

– Вы знаете, какие времена настали. Трудно одному. Очень тяжело. Вы поймите, я не только о материальном положении говорю, а вообще. Мне страшно!

Он снова замолк, а она не глядя на него, чтоб не дать зависнуть над столиком тоскливой тишине, стала говорить. Что-то про неудавшуюся перестройку, провалившийся путч, демократов и партократов, инфляцию, дефолт... Она не знала чего бы ещё сказать, и оттого неожиданно начала заикаться и картавить. Наконец, задохнувшись, схватилась она за горло и посмотрела на Бориса.

– Клара, давайте будем жить вместе, съедемся...- он дотронулся до её руки, державшей чашку, отчего она едва не выронила её.

– Вы ничего не думайте, всё будет, как захотите. Хотите – выходите за меня, а нет, так как бы совместное существование на основах конфедерации, – спешил он, тараторя.

Ничего не сознавая встала она, и, наступив на выпавшую из рук гвоздику, устремила к выходу.

Ночью, обычно мокрая от слёз подушка, осталась сухой. С ней случилась «смеховая» истерика.

Только к утру стихли мучавшие её спазмы, исторгавшие то икоту, а то пугавший соседей почти демонический смех. И, тогда, в конце концов, глаза наполнились слёзной влагой. Она не была ни оскорблена, ни унижена, как в те далёкие годы – «женихами» с их требовательными мамашами. Пожалуй, это было чем-то невероятным даже в её, изобиловавшей нелепостями жизни: в первый, и, вероятно, в последний раз ей делали предложение!!! И кто?! Человек, которого женщины не интересовали!

«Может быть, я для него и не представлялась женщиной, в привычном смысле?» – спросила она сама себя и даже удивилась собственной необходимостью.

Вместо того чтобы вновь стать отшельницей, Клара, чтобы покончить со всеми страхами разом, решила эмигрировать.

Мечты о женском счастье были давно похоронены, но хотелось ей

оставшиеся годы прожить нормально, не ощущая своей человеческой, половой и национальной ущемлённости.

С невесть откуда взявшейся энергией принялась она за предотъездные хлопоты.

И вот она уже в консульстве.

Консульский сотрудник, возвращая ей свидетельство о рождении, как-то странно взглянул на неё и спросил.

– Простите, а кто вы по национальности?

Она решила, что ослышалась, но он продолжал вопросительно смотреть и она, чувствуя себя совершеннейшей идиоткой, пробормотала, как и всегда, когда её спрашивали о национальности.

– Еврейка.

– А из чего это можно узнать?

– Как? – опешила она, всё ещё не понимая, чего же от неё хотят, разве не сидит она перед ним.

– Так вы утверждаете, что вы еврейка?

– А кто же? – спрашивала уже она.

– Не знаю, – пожал плечами чиновник, и привстал из-за стола, давая понять, приём закончен.

Очумелая, не разбирая дороги, добрела она до скамейки в пустом сквере. Села, раскрыла сумочку и стала рыться в накопившихся во время предотъездных забот, бумагах. Вынула паспорт: «Друскина Клара Яковлевна, 1945 г. Рождения, еврейка». В паспорте лежало и свидетельство о рождении, в которое она и заглянула, впервые в жизни, в шестнадцать лет мать получила за неё паспорт у жёковской паспортистки. Метрика оказалась «дубликатом, взамен утерянной». Она начала читать: «Родители – отец – Друскин Яков Хаскелевич, национальность отца – прочерк; мать – Друскина Ревекка Авраамовна, в графе национальность тоже прочёркнуто!» Как будто они были людьми без национальности! Так вот, что пытался втолковать ей консульский служащий, что национальности, на самом деле, в её основном документе, у неё нет!!!

Вот уж, подумалось Кларе, одна нелепость в её жизни громоздилась на другую, а иллюзорность окутывала её. Нет, должно же существовать нечто реальное?!

Она положила на скамейку все бумаги из сумочки, некоторые ветер снёс на землю, но Кларе было не до этого. Она упорно продолжала искать, сама и не зная, в точности чего же ищет... и... нашла.

Вот она, пожелтевшая и ветхая бумажка, трепещущий тонкий листочек у неё на ладони – справка гласила, что пятнадцатого мая тыся-

ча девятьсот сорок пятого года гражданка Друскина в третьем городском родильном доме родила здоровую доношенную девочку.

Может быть, это и было единственным подтверждением тому, что она пришла в этот мир, и вообще, жила на свете...

ПРОХОР, БАСЬКА И ЛОРД

Щенка колли хозяева принесли в квартиру, когда Прохор был молодым, бесстрашным псом. Правда, как любила пошутить хозяйка, псом «неизвестной» породы, помесью дворняжки с фокстерьером, и с пуделем и ещё Бог знает с кем. К тому ж, проживая в этой квартире со времён детства, Прохор, (почему назвали его этим человеческим именем он и сам не знал), всё равно оставался «уличным», просидеть хотя бы сутки дома, в квартире, было ему невыносимо. Но всегда возвращаясь сюда с уличных потасовок, он покорно давал себя и выкупать, да и смазать чем-то болеутоляющим боевые раны.

Когда принесли этого длинноморденького щенка, в Прохоре будто отцовские чувства всколыхнулись. Может они дремали в нём всегда, да только он о том не ведал, кто знает?

Даже дети, мальчик с девочкой, удивлялись тому, что их храбрый Прошка не рвётся, по обыкновению, на улицу.

Щенок рос быстро и уже через несколько каких-то недель он стал больше Прохора и ростом, и весом. Впрочем, это было естественно, поскольку пёс «неизвестной» породы был и малорослым и худым.

Вырос колли в огромного пышношерстного пса с гордым английским именем-титолом – Лорд! Но, если Прохор бегал по всему городу сам, то Лорда на коротком поводке выводили на прогулку трижды в день. Специально для него в огромной кастрюле хозяйка варила мясную супо-кашу. Его мягко ступавшие лапы были всегда чисто вымыты, а густая шерсть хорошо вычесана. Всё в нём дышало спокойствием, величием даже, ведь недаром же он ЛОРД был! Только в отношениях со стареющим, но неутомимо-бесшабашным Прохором Лорд ощущал себя будто бы младшим, братом меньшим был он, возвышаясь надо псом «неизвестной» породы. И, верно, потому что был Лорд вечно младшеньким, был он и несколько трусоват, что ли. Так, в те нечастые прогулки, когда Прохор отправлялся вместе с Лордом и кем-нибудь из хозяев, он ощеривался на всех встречных собак и готов был защищать «малыша» Лорда, до смерти... «Благородные», с длинной родословной, псы недоумевали, когда перед их мордами начинала маячить непри-

глядная, почти чёрная собачонка, грозно скалившая свои небольшие клыки. «С чего бы это?» – задавались многие из них вопросом, но не успевали додумывать из-за натянутого хозяином поводка.

Проживали они напару дружно. Лорд спал на специально для него купленном коврикe, а Прохор, если ночевал дома, то спал, где придётся, он был непритворлив.

Но вот девочка принесла домой исцарапанного, испуганно-мяукавшего рыжего котёнка. Прохор не одобрил этого её поступка. «Ну, вот, нам ещё только кошки не хватало?!» – искал он сочувствия у Лорда. Тот был во всём согласен с Прохором заранее.

Завидев собак, особенно шерстяную громадину, котёнок поднял переполох, взлетел на шторы, а затем повис, зацепившись когтями, на гардинах. Еле удалось его оттуда снять.

Девочка назвала котёнка Баськой, убедившись, что тот женского полу. Баська тоже обрела своё, «законное» место в звериной семье. Иногда, правда, Прохор ворчал, что можно было хотя бы не столь беспородную, невзрачную рыжую кошку найти, словно сам он был породистым псом, а не собакой «неизвестной» породы!

Прохор был доволен, что Баська была «домоседкой», и не участвовала в их, совместных с Лордом и хозяевами, прогулках.

Существование Лорда и Баськи, ограниченное стенами большой квартиры было, практически безоблачным. Их никто никогда не обижал, и потому они считали людей, и своих хозяев, и их близких, и знакомых, да, пожалуй, всех, лучшими в мире существами! Хозяев особенно, ведь те давали им и еду, и питьё, и тепло, и ласкали их, значит л ю б л и!

Только Прохор, «уличный», знал п р а в д у! Что люди очень-и-очень разные, и что мир устроен не просто, и что п л о х о в нём тоже очень-и-очень много!!! Но, никогда этим своим «знанием» не делился он не только с Баськой, но даже и с Лордом, которого считал самым близким родственником. Ни к чему это было.

В доме начало происходить что-то зловеще-непонятное. Даже умный, многознающий Прохор не понимал? Ясно было одно, что-то у старшего поколения хозяев не заладилось! И им необходимо было не просто уезжать, а просто-таки бегством спастись! Хозяин, оказывается, смыслил только в программировании, а в людях не очень, и сделал что-то не так. И нынче приходившие в дом люди, которых Прохор определил как «бандитов», чего-то требовали и от него, и от хозяйки, и даже детям чем-то угрожали?!

Прохор первым «оценил» размеры бедствия. До него дошло, что

животных своих хозяева бросят. И первым доказательством этому было то, что Баську они отдали своим знакомым, у которых была маленькая дочка.

Много вечеров провёл Прохор под окнами новых Баськиных хозяев, благо жили они на первом этаже. Довелось ему услыхать, как неистово вопила ничего не понимавшая глупая Баська... Потом, видимо, она смирилась с неотвратимостью перемен и затихла. Сидевший под окнами Прохор, замирая, пытался услыхать хоть какой-нибудь звук... Услыхав же как-то её сытое мяуканье, в отчаянии, досадуя на эту дуру, убежал.

Их с Лордом отдали тоже, правда, самым близким друзьям, так называемым «собачникам» без собаки. Собаки у них не было, во-первых, потому, что жили они в малютке-квартирке «трамвайчике» (т.е. в смежных комнатах) в хрущёбе; во-вторых, у них когда-то была маленькая комнатная собачка, которая померла от чумки и смерть которой они переживали по сию пору.

Но вот и у них в крошечной квартирке появились сразу двое взрослых псов – и Лорд, и Прохор. Младшее поколение хозяев слезами обливалось, прощаясь со своими животными. Девочка клятвенно обещала, что они при первой же возможности заберут их к себе, что не могут их взять сейчас только потому, что поспешно уезжают за границу. И не только нераздумчивый Лорд, но даже мудрый Прохор, поверили словам младших, и обещаниям старших тоже... Тому, что у хороших «собачников без собаки» они проживут недолго...

Хорошо жилось им у «собачников без собаки», хоть там и повернуться негде было, да их любили! Всё б ничего, да обоим псам не хватало тех, уехавших, будто на них сошёл клином белый свет!

Но вот начали водить Лорда по каким-то официальным учреждениям, какие-то бумаги на него заводить, делать множество разных прививок, а ведь, казалось бы, он был от всего вакцинирован?!

Прохор хоть и видел всё, да понимать не желал. Он уговаривал себя, что Лорд крупный пёс, породистый, вот ему и необходимо большее количество прививок; что Лорд – представляет большую ценность, и ему нужно огромное количество справок для переезда в другое государство, не то, что ему, Прохору беспородному, значит и беспаспортному, он поедет и без всех этих бумажек.

Наблюдал он за тем, как измеряют Лорда, тот позже разъяснял, что это для того, чтобы подобрать клетку-контейнер для перевозки животного в самолёте. И здесь Прохор убедил себя, что ему-то, мелкому, клетки для перевозки не потребуется, и так, безо всего, его перевезут.

Приученный только повиноваться хозяевам, всё равно каким, неразумный Лорд не проявлял никакого беспокойства, ведь люди знают, как ему должно быть лучше.

Мрачневший день ото дня Прохор предпочитал всё же заниматься самообманом. Ведь не могли же эти люди, те, кому он был предан с детства, да ещё и мальчик с девочкой, не могли же они, все сразу, оказаться предателями? Это было н е в о з м о ж н о!!!

Даже когда на несколько дней исчезли «собачники» вместе с Лордом, Прохор тоже как-то объяснил себе это.

Только когда вернулись они одни, без Лорда, врать самому себе, оправдывая их всех, было уже нельзя!

«Собачники» лишь виновато поглядывали на Прохора, да женщина лишь украдкой вытирала глаза. Но его это уже не трогало.

Он убежал из этого, как считал когда-то «временного» пристанища на улицу, где никто уже не смог бы его предать. Стало ему всё равно, где и как жить, лишь бы не с людьми, ведь не родился он счастливым, как породистые собаки, составлявшие для своих хозяев не только ценность, но и гордость. А что собой представлял он – пёс «неизвестной породы»! Бесчувственным стал он и к холоду, и к голоду, и к тем пинкам, что награждали его либо пьяницы бессильные, либо мальчишки в своей детской жестокости. Будто оглохший и ослепший, он и не почувствовал, как попал под колёса автомобиля. Конец его был мгновенным.

Растолстевшая рыжая Баська по-прежнему сторожит свою еду на кухне. Сторожит она её не от людей, а от Прохора с Лордом. Знает она, что кошачья еда им не нужна, но могут же они, невзначай, перевернуть её миску или блюдо. А тех почему-то всё нет, всё с прогулки задерживаются...

Лорд на чистых заграничных улицах-стритах тоже всё ждёт своего старшего брата – Прохора, и теряется в догадках, и недоумевает... да спросить у хозяев не может!



ВЕРА ФЁДОРОВА

КУЗНЕЦ-МОЛОДЕЦ

Жил да был один кузнец,
Парень просто молодец!
Баб и девок – всех знавал,
Всех тащил на сеновал.

Полдеревни ребятни
Были несколько сродни,
Хоть и разные с лица,
В каждом видно кузнеца.

Складны, плотны, как отец,
Сразу видно, чей птенец.
Непокорность в волосах,
И веснушки на носах.

Бабы ссорятся подчас:
То, глядишь, подбитый глаз,
Или блузка у мадам
Вдруг разъедется по швам.

А кузнец – во всём он хват:
Под усами скроет мат,
По металлу звонко бьёт
И куёт он, и поёт.

Ну, а вечер подойдёт
Он гармошку развернёт
И потянет вновь меха...
Удержитесь от греха!

Голос создан для любви,
Подпевают соловьи,
Улыбается луна,
Тёмна ночка тайн полна.

Только тайны эти днём
Обсуждают всем селом.
Не пройдёт ещё и год,
На селе опять приплод.

Мужики, устроив бунт,
Кузнеца ведут на суд.
Что сказали мужики?
Ничего, но кулаки,

Как кувалды в ход пошли.
Колья вырвав из земли
Бьётся насмерть, ну дела,
Стая рыцарей села.

Наш кузнец, хоть был здоров,
Но лежит ни жив, ни мёртв.
Всем гуртом на одного –
Отметелили его.

Первый в жизни бюллетень.
Вот проходит третий день...
Где Василий? Где кузнец?
Без него селу конец!

То подковы лошадям,
То детали тракторам,
То лемех сломался – плут,
Ну и горе для подруг.

Кузнеца к работе ждут,
На поклон к нему идут:
-Ты прости, Василий, нас.
А у Васи синий глаз

Словно спелый помидор!
Мужикам кузнец отпор
Дал и выгнал со двора,
Потому что знать пора:

Кто в селе нужнее всех?
Кто качает жаркий мех?
И поднять готов втройне
Демографию в стране!

Детям

ОБЛАКА

Я слежу за облаками
Пенными. Пушистыми,
Машут лапами-руками
Вымытыми, чистыми.

Словно сахарная вата
Проплывает мимо рта,
Только я не виновата,
Это – вата, да не та.

Если б сахарная вата
Заплыла случайно в дом,
Представляю, уж тогда-то...
Мы б наелись всем двором!

НА УЖИН

На своём окошке
Я насыпал крошки
Для гостей, для птичек –
Воробьёв, синичек.
Птицы место знают,
Соберутся в стаю,
Вымоются в луже
И ко мне на ужин.

СЛЁЗЫ

Отчего так плачет Настя?
Слёзы катятся дождём.
То ль осеннее ненастье
Заглянуло к Насе в дом.

Иль не лучшая отметка,
Или кто обидел вдруг?
Объяснила нам соседка:
-Просто Настя режет лук.

В ЗООПАРКЕ

За решёткой – обезьянки
Грустные, как арестантки,

Смотрят тихо на ребят:
– Почему они шумят?

А ребята строят рожи.
На зверей они похожи,
Так же чешут в волосах,
Ковыряются в нозах.

Обезьяна шепчет сыну:
-Посмотри на эту «мину».
Так не делай никогда,
Я краснею от стыда.

Что за странная порода?
Их обидела природа –
Обезьяна говорит –
За решёткой – новый вид.

Ой

Возле леса под горой
Дом себе построил Ой,
Но и там отыщут Оя,
Нет нигде ему покоя.

На любой зовут пустяк,
Без помощника – никак.
Ой, меня толкнула Ленка!
Ой, разодрана коленка!

Ой, заноза! Ой, порез!
Я на дерево залез,
Ой, а как же мне спуститься?
Тут же Ой сюда примчится.

Зуб болит... И снова: Ой!
Не уйти ему домой.
И пустует домик Оя
Возле леса под горою.

Только чем поможет Ой?
Он и сам уже больной
И в глазах так много грусти.
Лучше мы его отпустим!

МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

ПУТЬ К БОГУ

Утро выдалось по-весеннему светлое, радостное. Солнце беззаботно заскользило над скотным двором, словно ничего не случилось. Словно оно, солнце, не видит охрану у ворот коровника, забитого до отказа людьми, встречающими свой последний день. Маленький человек с большой головой и красным недопечённым лицом, в дамском плюшевом полупальто поверх ватной телогрейки, опоясанный солдатским ремнём с немецкой пряжкой, раскрыл ворота и закричал:

– Жиды! Слухай сюды! Выходьтэ до двору, уси выходьтэ! Клумакы складайтэ отут! – Он махнул трёхпалой рукой в сторону калитки.

Из чрева коровника, как из огромной мясорубки, медленно вываливались люди, постепенно заполняя пространство скотного двора.

– Швыдше! Швыдше! – кричал он, хлюпая носом. Трёхпалый всегда мёрз и мучился хроническим насморком. Свои болячки он заработал в тюрьме, и большую часть двухгодичного срока провёл в карцере. Сидя на холодном цементном полу, тихо проклинал ту тёплую летнюю ночь, когда сподобился украсть трёх кур из колхозного птичника.

* * *

Трёхпалый отделил от остальных сотни полторы способных работать мужчин и женщин. Крики, плач, причитания оставшихся людей полыхнули единым воплем, как последний выдох умиравшего человека. – Мовчать! – заорал Трёхпалый и дал очередь из автомата над их головами. Стало тихо. Местные полицаи повели отобранных евреев по дороге, проходившей через вершину соседнего холма. Среди

угнанных была и Шлима. Она, как могла, сопротивлялась, пытаясь вырваться: – Там остались мои дети, моя мать! Пустите меня! – умоляла она – Я должна быть с ними!

Её голос сел, стал сиплым, руки дрожали, а лицо пошло пунцовыми пятнами. Человек с рыхлым недопечённым лицом молча выхватил из голенища нагайку и несколько раз полоснул Шлиму по плечам. Она на миг замерла, глаза расширились, а руки инстинктивно поднялись на уровень его шеи. Кроме его лица, Шлима ничего больше не видела. Всё остальное было закрыто туманом. Для неё это лицо воплотило все вселенские беды и беды её семьи. Ей казалось: стоит уничтожить это лицо, и тотчас исчезнут полицаи, исчезнут коровники, да и вообще исчезнет война. Grimаса ненависти исказило её лицо. Из горла вырвался не то стон, не то рык, а скрюченные пальцы потянулись к его горлу. Трёхпалый сделал шаг назад, нагайкой хлестнул её по рукам и передёрнул затвор автомата. Чьи – то руки оттащил её от дула автомата. – Всё пугём, – почему-то по-русски пробормотал он и насмешливо ухмыльнулся. Трёхпалый вспомнил двадцатый год. Его банда ворвалась в еврейское местечко. Гарцуя на коне, он гонял по улицам двух стариков, избивая бичом, на конце которого была вплетена свинчатка. Играя с ними, как кошка с мышью, он отъехал, делая вид, что их оставляет, потом возвратился, и растоптал копытами своего жеребца. Даже конь не хотел слушаться, ржал, дыбился, пытаясь объехать распростёртых на земле людей. Понукая коня шпорами и хлыстом, Трёхпалый заставил животное подчиниться. В этом же местечке, в стычке с другой бандой, ему отстрелили два пальца левой руки.

Позднее в документах значилось: «Ранение получил при защите еврейского местечка от погрома».

Его фамилия со временем забылась, а кликуха «Трёхпалый» осталась.

* * *

Кодряну посмотрел на часы, жестом подозвал Трёхпалого и через переводчика – молдаванина, бывшего секретаря комсомольской организации, спросил:

– К ликвидации всё готово? Смотри: ты придумал, с тебя и спрос!

– Готово, господин офицер, усе готово, – вытянулся во весь свой маленький рост староста, – тильки Пэтра Соплывого нэмае, мабуть,

дэсь пье. Ворота скотного двора распахнулись. Засуетились, забегали полицаи. Подхватив на руки детей, испуганные люди сгрудились на середине двора.

– Пишлы, а ну пишлы! – выгоняя людей на дорогу, орал Трёхпалый.

* * *

Отобранные люди постепенно исчезали за вершиной холма. Кукка напряжённо всматривалась в колонну, пытаясь разглядеть свою дочь. Но через секунду люди пропали, растворились, словно сто пятьдесят жизней и вовсе не существовали. И только в светлое небо впечатались три чёрных силуэта конвоиров. Они отбрасывали огромные тени, сползая вниз по холму. Казалось, сама чёрная судьба крадётся к людскому развалу, замкнутому в пространстве скотного двора.

Не утирая слёз, Кукка беззвучно плакала и только сильнее прижимала внучек к ногам. Она не знала, что в семи километрах отсюда, за холмом, в колхозных конюшнях, старосте села, человеку с рыхлым недопечённым лицом, приказано устроить временное гетто для евреев и использовать их на тяжёлых работах. Она также не могла знать, что ему приказано «подручными средствами» разминировать подходы к реке, где поили лошадей и домашний скот. Но Кукка уже знала, что надежды на спасение не осталось. И тогда она закричала страшно, пронзительно, этот звук исходил из её нутра, словно терзалось то самое место под сердцем, где она вынашивала свою дочь.

И набожная женщина нарушила заповедь Всевышнего. Все невысказанные претензии к Богу, накопившиеся за долгую жизнь, вдруг выплеснулись наружу проклятиями:

– Будь проклят ты – Герман Вебер, не научивший своего сына человечности, – кричала Кукка. – Будь проклят и твой сын Пауль Вебер, посылающий на смерть свою сестру и её детей. Не знать вам покоя ни на том, ни на этом свете.

Её проклятия эхом носились по двору, залетали в закоулки, отражались от стен строений и глохли в пустых коровниках. Она прокляла человека – отца своей дочери, любовь к которому хранила всю жизнь. Прокляла и его сына. «Это позволено только Господу Богу» – ужаснулась Кукка, и ей стало совсем невмоготу. Старая еврейка взмолилась:

– Прости меня, Боже! Прости меня, Господи! Я верой служила Тебе и буду служить до последней своей минуты, прости меня! – причитала она.

* * *

Кодряну считался хорошим офицером. Был внимательным к начальству. Он не забывал поздравлять старших по званию то с днями рождения, то с успехами союзников на фронтах, а то и с разумными приказами по городу. И, правда, все городские службы работали исправно, рынки ломились от продуктов, магазины и винные подвалы-чики работали допоздна.

К поздравлениям он прилагал золотые вещицы: кому колечко, кому цепочку с кулоном, а кому и серебряные столовые приборы. При этом говорил улыбаясь: – Скоро война кончится, нужно и домой что-то привезти.

Хотя сам ещё не определился, где будет жить после войны. Ему нравился этот большой приморский город, принадлежащий теперь великой Румынии. Начальство, не желая рисковать жизнью такого смышленного офицера и хорошего парня, держало его в тылу. Кодряну выполнял отдельные поручения: руководил охраной сборного пункта евреев в городе, депортацией их на окраины, а затем в районы уничтожения. Назначал сельских старост, а иногда руководил и самой ликвидацией. К евреям он ничего не имел, поэтому свою работу выполнял на три с минусом, конечно, заботясь о своей безопасности и выгоде. Доходец от выкупленных евреев он считал своими личными трофеями и хранил в двух мешочках: один в голенище сапога, другой – на шее, рядом с серебряным крестиком.

Здесь на пополнение трофеями замшевых мешочков рассчитывать не приходилось – провинция. Это немало его огорчало.

* * *

Посмотрел на часы и Пауль Вебер. Ему стало жарко, частые удары сердца отдавались в голове барабанным боем. Что-то давило на плечи, словно он нёс тяжёлый груз. Пауль нервно зашагал по комнате. Набывчившись, втянув голову в плечи, подбежал к столу и выхватил из портмоне фотографию дочки, так похожую на девочку с золотистыми кудряшками, стоящую где-то в толпе рядом с красивой старой женщиной. Ему нестерпимо захотелось ещё раз увидеть эту девочку и женщину, которую любил его отец. Нерешительность, вина перед

отцом, верность присяге, страх за последствия своих решений – всё это снова закрутилось в спираль противоречащих друг другу мыслей, кричащих в его сознании, внутренними голосами. Накинув шинель, Вебер двинулся к двери. «Стой, Пауль Вебер, никуда не иди, ничего уже нельзя изменить, ты всё правильно решил. Настоящий немец умеет выполнять приказы. Пройдёт время, и Германия будет гордиться такими, как ты. Подумай о своей карьере, – предупреждал голос, – беги туда, Пауль, беги скорей, ты ещё что-то придумаешь, – вмешался другой голос, – не стой, там твои племянницы. И ты знаешь, куда их ведут и что с ними будет». Выбежав во двор, Вебер быстро направился к воротам и спиной прижался к серым жердям забора. В горле першило, а лицо заливала бледность. Пытаясь унять дрожь, он обхватил ладонями локти и замер. Мимо него текла толпа. Они шли медленно, с отсутствующими лицами, понуро опустив головы и плечи, равнодушные к окрикам конвоиров и уготовленной им судьбе.

Кукка первая увидела Пауля. Она расправила плечи, подняла голову, подхватила детей на руки и, твёрдо ступая, двинулась к выходу. Проходя мимо, измерила его ненавидящим взглядом, с презрением улыбнулась и прошла в открытые ворота. Вебер похолодел, он пытался сильнее вжаться в забор, исчезнуть, раствориться. Но голос, не давая покоя, снова заговорил: «Ты опоздал, Пауль Вебер. Ты упустил последний шанс исправить своё дурное воспитание – стать человеком. Ты второй раз предал своего отца, послав на смерть его внуков и дочь. Это зачтётся тебе, майор Пауль Вебер. Пройдёт время, любимая тобой Германия будет стыдиться таких, как ты. Мертвящая слабость медленно вползала в его тело, ладони отпустили локти, руки безвольно повисли, а голова опустилась на грудь. Пауль не понимал: жив он или уже мёртв. Его не было, он ещё не родился, а может быть, умер очень давно. Он стал никаким.... Двор опустел. Вебер, закрыв глаза, остался стоять у ворот.

* * *

Поле, поросшее редким бурьяном, полого спускалось к реке. На дороге вдоль его края пригнали евреев. Они молча ждали следующей команды от таких же людей, как они сами, но державших в руках время их жизни, а вернее – смерти.

Трехпалый что-то тихо сказал Кодряну, кивнул, отошёл в сторону и закричал:

– Уси менэ чують? – и помолчав, добавил: Бачу, шо уси! У цим поли аждо самой ричкы трэба зибраты бурьян! – Зло сказал он. – Ото гайд! Гайд! Почалы, почалы! – подгонял он.

Люди приободрились, в глубине сознания мелькнула надежда, и они двинулись к речке.

Первый взрыв прогремел метрах в тридцати от дороги, на которой залегли солдаты и полицаи. Люди на миг ошалело остановились и шарахнулись назад. Их остановили автоматными очередями и выстрелами гнали обратно к реке.

– У жидив не стреляты, тильки поперед них! – орал Трёхпалый.

Евреи ещё нужны, они ещё не выполнили придумку старосты, как разминировать подходы к реке «подручными средствами».

Кукка медленно шла по начиненному минами полю, прижимая к себе плачущих девочек, тихо молилась. Статная, величественная, с гордой осанкой, она была красива – семидесятилетняя женщина – красотой мужественного непокорённого человека, заглянувшего за край жизни. Она молила Всевышнего лишь об одной милости: забрать их к себе всех вместе. Бабушка боялась оставить внушек одних. Крики, стенания обезумевших от ужаса людей, заглушались взрывами и лаем автоматов. В воздухе стояла пыльная дымка, пахло гарью, сырой землёй и кровью. Девочки вздрагивали от каждого взрыва и смотрели на бабушку полными слёз глазами. Вдруг из шепчущих губ старой еврейки вырвался крик, перекрывший гул побоища:

– Евреи! Не визжите, как свиньи! Вы теперь свободны, вы идёте к Богу! Он ждёт вас!

Услышав её люди, подняли головы и как старое тряпье, сбросив с себя чувства унижения и страха, спокойно пошли к своей смерти. Вдруг Кукка споткнулась. Последнее, что она увидела, – яркую вспышку, взлетевшую в небо внучку с распахнутыми от ужаса глазами и золочёные солнцем кудряшки.

* * *

Пригнанных евреев загнали в бывшую колхозную конюшню, что в пяти километрах от скотного двора, и выставили у входа охрану.

Кузнец Василий Ковдин и пятеро пожилых евреев оплетали забор территории конюшенного двора колючей проволокой. Сторона,

вплотную примыкавшая к реке, ограды не имела, а заборы двух других сторон метров на пятнадцать – двадцать уходили за урез воды. Василий умел всё. Его потемневшие от угольной пыли и дыма пальцы легко управлялись и с мастерком, и со швейной иглой, и с полупудовым молотом. Высокий, сильный, неторопливый человек лет шестидесяти немного сутулился, круглый год носил валенки с азиатскими калошами и поэтому казался ещё мощнее. Будучи сыном священника, во время ареста отца выпрыгнул в окно и всю ночь, пережидая обыск, просидел в снегу. Так обуваться приходилось от маяты в ногах. Румынской оккупации не обрадовался и служить к ним не пошёл. Колхозное добро не грабил, а на жизнь зарабатывал своим трудом – по найму. Жил одиноко, жена умерла, а сын где-то воевал. Сквозь перестук молотков стал слышен гул взрывов. Они доносились со стороны скотного двора. Работающие евреи переглянулись. Василий опустил голову. Люди, запертые в конюшне, заволновались, запричитали. Шлима, расталкивая людей, переходила от одних ворот к другим, стучала, плакала, царапая ногтями грязные доски, звала охрану. Она рвалась к своим детям, матери, просила дать возможность разделить их судьбу.

– Цытьтэ! – заорал охранник и короткими очередями «перекрестил» закрытые ворота.

* * *

Петька Сопливый с вечера обмывал с друзьями кольцо, полученное от Кукки. Бурачный самогон мутными плёсками лился в кружки. Стекланная четверть понемногу пустела. Петька с трудом оторвал голову от стола.

– Хлопци, на двори вже соньчко зийшло!? – удивился он. – Лышенько, сьогодни жидив стріялятымуть.

Петька с усилием поднялся. Сняв с гвоздя автомат, вышел на улицу и двинулся к скотному двору. Глаза слипались, его качало, заносило на обочины. Он падал, вставал, строчил очередями куда ни попадая, распугивая кур, собак, редких сельчан, и горланил частушки:

– Як за грэблей, у садочку, зныщили усих жидочкив. Вжэ у нашэго сэла, аж ни одного жида.

Сопливый вошёл в раскрытые ворота фермы.

– О!... Де ж вы е, мои мыли жидочки?! Куды ж вы подивалыся, тряся вам у бик?! Йдить, йдить до мэнэ, любы мои! – орал он, обстреливая

длинными очередями двор. Вдруг Петька что-то вспомнил, повернулся и выбежал на дорогу.

Три пули прошли грудь Пауля Вебера, стоящего на том же месте. Серое лицо, серая шинель на фоне серых жердей делали его незаметным.

Он медленно сползал к земле, слабеющими пальцами инстинктивно цепляясь за выемки в заборе. Деревенеющими губами он шептал:

– Господи ... Господи ... Ты справедлив, Ты спра....



РАДОМИРА ШЕВЧЕНКО

КОНЕЦ ВОЙНЕ

Играет свет на крышах и балконах,
Играет свет на витражах оконных,
И математик щурится в окне:
Конец войне! Конец войне!

Ты – как рыбак, в свету горит твой профиль,
Ты – чёрный пёс по кличке Мефистофель.
Ты не со мной, но ты спешишь ко мне,
Конец войне! Конец войне!

Рассвет залил дома лимонным соком,
Прошёл по миру переменным током.
Я буквы разбираю на стене:
Конец войне! Конец войне!

И мы вдвоём идём неровным строем,
И радостно, и лестно нам обоим.
Всё стало ясно в нашем общем сне:
Конец войне!
Конец войне!

НА БЕЛЫХ ПЛОЩАДЯХ

На белых площадях, где дождь вскрывает вены,
Где памяти моей ложится робкий след,
Где каждый час и миг так искренне нетленны,
Весна сбивает с ног. Весна – на всё ответ.

Молчи, моя весна! Как этот первый город,
Пой гимны нынче, бей во все колокола!
Пусть наш лучший день был надвое расколот –
Так вечно стоит жить, и так сгореть дотла.

Мой сон не спит, он прав, он скоро всё забудет,
А дождь, весенний дождь, всё хлещет по душе...
Сегодня сонный луч мою весну разбудит,
А завтра я уйду и не вернусь уже.

ЕТ CETERA

На белом, на размеченном листе
Движенья наши отмечают тени
И плаваются, сгорая в правоте,
Тоске и лени.

О если бы забыться и забыть,
Не думать прошлым, не иметь портретов,
И в Мёртвом море по теченью плыть
За прошлым летом!..

От жизни безвозвратно далеки
Воспоминанья акварели смытой:
Мне счастье – мерить воду у реки
Дырявым ситом.

* * *

Нас было пятеро: ты, я, твой оптимизм,
Моя скептичность, и моё сомнение.
Мы не носили риз, не оформляли виз –
Мы просто жили вдоль – до отупенья,
Не зашивая дыр, не разрывая дней,
Забросив звёзды в рюкзаки за плечи...
Становится темней. Дерзай, мой друг, смелей!
И, может, поперёк жить будет легче.

АЛЕСЬ ЭРОТИЧ

ПЛОВЕЦ

Что это было за лето!

Июнь принёс три события.

Жару, от которой плавился асфальт, сугробы тополиного пуха и чемпионат мира по футболу. Океан жары омывал город. Зной лежал на нём, как раскалённый пятак на ладони. Тени жались к цоколям домов и боялись высунуться из подвалов.

Мужская часть Германии, томящаяся душевной пустотой, перестала прочёсывать галёрки фото помоев в интернете, слезла с порносайтов, и села на стадионы и к экранам телевизоров. Это коснулось даже обитателей Кройцберга. Звонок прозвенел и для них... Пора было выбраться из сумрачной конкисты андеграунда на свет божий.

Для них, на Mariannen Platz, месте первомайских боёв с полицией, был сооружён свой Olympia Stadion.

А Берлин, напоминающий распахнутую раковину, принимал потоки туристов, словно здесь ожидалась битва народов. Он был нашпигован ими под завязку. Как мексиканская пицца овощами. Бородатые шотландцы в клетчатых юбках, – уверенная медленная мужская сила. Им навстречу когорты немецких фанатов с трёхцветными ирокезами, разрисованными лицами и тоже в юбках из национальных флагов. Навстречу ликующим белёсым девчонкам с лицами вологодских крестьянок, и с триколорчиками на щёчках и голеньких плечиках – жгучие средиземноморские брюнетки, с телами, украденными с фресок Помпеи.

Улицы Кройцберга затопили смоляные головешки турецкой ребятни в белоснежных майках с надписью «Deutschland». Носились вереницы чёрных кабриолетов с полыхающими кострами немецких флагов. В Шпрее зашли яхты с гордо подвешенными на мачтах огромными экранами.

Что это было за лето!

Градуcник заставил людей снять даже майки.

Он погрузил их в рассол жаркого марева из солнца, пуха, цветов и флагов. Реки флагов, моря, океаны. Турецкие и арабские дети размахивали самодельными, раскрашенными от руки флажками. Даже «шизик» Вилли, сидящий при любой погоде на перекрёстке у Prinzenstrasse в шлеме на трёхколёсном велосипеде, и тот держал флажок...

Бумерангом плясали страсти. При игре немцев, стадионы захлёбывались в пароксизме чувств и оргазма. Вокруг Olimpia Stadion вращались метели тополиного пуха, оставляя у стен сугробы. Сам стадион изнемогал под прессом горячего и плотного, как стекло, воздуха...

Все болели за «наших».

И «наши» выигрывали, выигрывали, выигрывали...

Во время этих побед буйство молодёжи на Fanmeile не имело предела. В городе шла такая стрельба, словно русские в четвёртый раз намеревались взять Берлин. А по ночам на лужайках полыхали костры и гремели междусобойчики любителей хорового пения. В газетах клубились испарения фантазмагорий под названием Weltmeisterschaft.

Что это было за лето!

С угрями и судаками была какая-то невезуха.

По утрам, когда солнце, высываясь из-за кромки платанов, застревало в вязком тумане, я шёл проверять оставленные на ночь донные удочки. Река парила, сберегая в себе остатки перепуганной полицейской сиреной тишины. Каждый раз я брался с трепетом за леску, чтобы ощутить упругие толчки рыбы, и каждый раз получал разочарование. В лучшем случае наживка или была сорвана или были оборваны поводки. Я ставил более толстые лески, и их обрывал неведомый противник. Оставалось слушать плеск рыбы, кормить прожорливых уток и лебедей, и наблюдать, как нега струится сквозь прозрачные кроны деревьев.

* * *

В тот день небо брало самую высокую синюю ноту.

Уже с утра тополя опухли от горячего ватина. Солнце то медовым подтёком висело на скользкой стене неба, то искрилось золотой каплей на кончике иглы. Спасти мог только бассейн. На тяжёлой масля-

нистой воде вуалью лежал пух. Чайки кричали младенческими головами.

Женщины беседовали, кучкуясь в тенёчке, обнажив литые груди, не задумываясь о реакции окружающих. Да её и не было.

Приучили.

Население бассейна пестрило. Толпы, раздутых от пива мужчин, нуждающихся в бюстгалтере, растекались по парапету, лишённой скелетного состава, массой Тинэйджеры всех наций. Вот, перевитые верёвками мускулов, белобрысые немцы, смутлые египетские подростки с глазами-оливками, словно сошедшие с древних фресок, турки со студнем трясущихся животов...

Вода принадлежала немкам со стальными телами. Методично, километр за километром, они накручивали спирали неизвестного марафона, мелькали крутые плечи и полушария грудей. Жизнь шла по своим правилам...

Внезапно моё внимание привлёк странный пловец.

Он плыл медленно, но упорно, с трудом продвигаясь вперёд. Грёб он только одной рукой, нет, грёб и второй, но это была ...культя. Он плыл на спине. Обратно – на животе. Невероятно!

Я стал наблюдать за ним... Вот, сойдя с дистанции, он взобрался на лестницу, и уверенно орудуя рукой, вышел на берег. Был он немолодым человеком, кряжистым и крепким, как дуб. Присмотревшись, я разглядел на его спине шрам. Это, явно, была рана войны...

Облачившись в халат, он сел на складной стул.

Задумался.

Я переместился поближе.

Халат его распахнулся, обнажив могучие плиты грудных мышц, спина была крепкой, как деревянная колода. Старческие пятна на полированном черепе, местами проступал ёжик серебристых волос. Простое, бесхитростное, открытое лицо, – оно было лишено мимики. Тьма под веками казалась испещрённой падающими кометами. Плотные сжатые волевые губы внимательно сосредоточены.

Это был лик застывшей статуи.

Я проследил за его взглядом. Он уходил вверх, в кроны деревьев, взметнувшихся зелёным водопадом. Фуги света играли на клавиатуре листьев. Засохший лимон солнца покачивался в вышине. Мне привиделось, что его контуры приняли очертание рыбы, но, вероятно, это была иллюзия. Наши глаза встретились. Угол преломления взглядов был достаточен, чтобы довериться друг другу...

– Кто ты?

– Я хочу знать о твоём прошлом.

– Зачем тебе это? Ты хочешь прочистить авгиевы конюшни моей памяти? Я запер свои воспоминания на ключ, повесив его на гвоздь истории, распявшей жертву. Я выбросился из собственной памяти, как наркоман из окна...

Из бассейна вышла нимфа.

Иконописный лик зрелой и уверенной в себе красоты. Привычным движением сняла резиновую шапочку. Плавную завершённость её фигуры дополнил ливень золотых волос. Её соседка, дама с плоскостопием и плоскогрудием, взметнула завистливый взгляд...

– Красивым женщинам не на пользу осознание собственной красоты. Оно накладывает на лицо какой-то неистребимо-пошлый отпечаток самовлюблённости.

Он завесил серую печаль улыбкой, но не изменил взгляд, словно был не в силах оторвать его от невидимой точки опоры.

– Ты хочешь знать, был ли я на войне, и где потерял руку? Этого хотят знать все, кто общается со мной...

Мне было пятнадцать. Мы умывали лица в мерцающих молодых днях, как в живой воде. Нас окружала романтическая вьюга слов, и мы рвались служить великой Германии. Фашизм был для нас мечтой об идеальном мире, в котором мы жили бы просто как нормальные люди, но на который все посягали. Мы готовились защищать этот наш идеальный мир, развивали своё тело и дух, чтобы стать похожими на героев войны. Героизм состоял в отречении от себя во имя веры и правды...

В чью правду мы верили?

В великую историческую миссию Германии. Но это не было правдой. Правда была в жизни, а не на страницах прессы. Правда была в том, что ожидало нас. Двух правд не бывает. Она всегда только одна... Мы не знали, что уже отравлены страшным ядом – романтикой войны. Идеология душила нас, уродовала наши характеры...

Он погонял желваки на скулах.

– Гитлер перенёс Статую Победы с рейхстага в Тиргартен и мы не заметили, что Германия стала бешено вращаться вокруг неё, как циркулярная пила. И мы хаотично вращались вокруг своей оси.

Когда он говорил: «Мне не нужны ваши умы и сердца, мне нужна ваша молодость» – мы были в восторге, – «Вы стали тем, кто есть, благодаря мне!» – мы ликовали, цель была выше нас и мы тянулись к ней, мы плыли по течению реки...

Дрессированное время шло в ногу с нами. А мы отворачивались

от невыносимого взгляда правды. Всё было шито белыми стежками: война и мир, любовь и ненависть, причина и следствие...

Пришёл 45-й год. Всё было, как у Вагнера – вокруг одни враги. Симфония тысяч участников, как у Малера. Я не знал тогда, что ткацкий станок судьбы пришёл в движение.

Меня призвали в гитлерюгенд.

Мы не успели проснуться от прекрасного сна детства, как нас пропустила сквозь себя горькая истина. В руках было оружие, а приказ избавлял от необходимости думать... Охранная грамота детства повалась.

Рассказчик замолчал.

Я посмотрел ему в лицо, оно было, как колодец без дна, в него можно было упасть камнем. Плавню текло время, завихряясь и образывая воронки.

– Битва за Берлин разветвлялась. Гром «сталинских органов» превратился в оркестр, инструменты которого слетали с орбит своих звучаний. Бездна бушевала над городом. Шёл седьмой год войны, седьмой год бомбардировок Берлина. К этому привыкли, и это было самым страшным. Люди не могли себе представить, как пережить ещё один день, война казалась бесконечной...

Берлинцы стали тенями, скользящими по узкому карнизу жизни. Они как статисты присутствовали на карнавале запутанных судеб, оставленной Богом страны. Страх смерти вошёл в обиход, к нему привыкли. Умереть было легко, трудно остаться жить. Жители Берлина ходили вверх ногами, словно люди другой планеты...

Черты их слились в сюрреалистический портрет с пустыми глазами на затылке.

Жизнь плавилась в них, как в горне. Люди глядели в ночь долгим взглядом. Из окон не было видно ничего, кроме вьюги, а в уцелевших осколках стёкол отражались приколотые к свинцовому небу ангелы, с ужасом на застывших лицах...

Все превратились в камни, незрячие камни со слежавшимися мыслями и бесприютной душой, напрасно ищущей пристанище в этом мире и негодующими оттого, что их провели и бросили, оставив одних.

Шла невидимая, скрытая от глаз, полная самообмана, жизнь, в которой невольно участвовали все. И всё здесь дышало незнанием человеком самого себя.

Кошмар клеился к людскому сознанию, как грязь к колёсам. Проза жизни загнала поэзию в угол и наматывала её кишки на кулак. Мне казалось – все понимают, что происходит, кроме меня... Моя душа была

маленькой и тесной, в ней не могло разместиться никакое человеческое чувство, внутри был туман, снаружи туман, на зубах – толченное стекло...

Он вдруг задохнулся.

Видимо, нахлынуло много слов и чувств. Словно кто-то мощной рукой выжал его мозг и метафоры из него били потоком. Он перешёл на жестикуляцию, плавную и размашистую, как у священника. Его речь стала казаться игрой звуков, стремящихся вытеснить из себя опасную музыку.

Мы, парни из гитлерюгенд, не хотели умирать. Но эсэсовцы из разных стран, а здесь были датчане, норвежцы, латыши и эстонцы, собрались здесь, чтобы встретить свою смерть. Русские атаковали, мы шли в контратаки.

Шли под дождём из серы, огня и стали. Шли мимо трамвайных линий, выгнутых, как волны бушующего моря, мимо столетних, срезанных снарядами лип. Молодые жизни уходили ручейками в песок. Бог отводил взгляд от грешников, хватющихся за ивовые кусты в этом бурном потоке. Ветер сдувал переплетенные линии жизни и судьбы с ладоней, сдувал за край, за черту.

Мы знали о поражении. Мы хотели быть достойными этого поражения, своего ужасающего зрения, своей умирающей крови. Мы принимали поражение, но мы искали надежду, как ищут её шахтёры в заваленной шахте, продолжающие в полной темноте работать лопатами и сорванными в кровь ногтями. Люди, прозревающие на обратной стороне залитых тьмою век, искали выхода из туннеля. Горести таяли перед призраками ещё больших горестей и тревог, и это странное чувство самопожертвования в пользу другого приносило облегчение.

Минуты, часы, дни текли в никуда...

На самом деле они срывались в пропасть. Я чувствовал, что в воздухе идёт буйное созревание катастрофы. Мертвенный зеленоватый свет стучался в воздухе, в небе повисла тишина, дирижёр поднял палочку, но музыка медлила. Драма началась с четвёртого акта и завершилась гибелью титанов.

Гроза с размаху ударила в крохотное дно города.

В тот день огонь русских был особенно силен.

Разрывы их снарядов сотрясали всё вокруг. Я нащупал в кармане медальон, который дала мне мать. Я хранил его, как талисман, верил, что он защитит меня. Нервы были напряжены. Моё убеждение напо-

минало затерянную в штормовом море лодку. Казалось, вот-вот затрещит и развалится.

Внезапная вспышка, грохот... что это? Не стало слышно залпов, взрывов, криков. Воцарилась тишина.

Кто-то стоит как в тумане, сверкает белым...

Попытка встать ни к чему не привела, по-видимому, контузия... уши будто заткнуты чем-то. Мир стал беззвучен... И вдруг я увидел мать, старшую сестру, – они стояли чуть поодаль, протягивали ко мне руки, словно пытались вытянуть из-под обломков...

Поздно, слишком поздно...

Я ощущал себя муравьём, придавленным небом. Рот забит землёй, огнём жжёт руку.

Далёкие планеты чудились беспредельно огромными... Может я сплю, и это кошмарный сон? Может меня пытаются раскалённым железом? Ведь только во сне так бывает – хочешь пошевелиться, и не можешь, не в силах позвать на помощь, а главное – некого. Чувствуешь, что где-то рядом есть люди, но никого не беспокоит твоя судьба. Как страшно быть слепым, глухим и немым одновременно.

Вдруг темноту прорезал свет, донёсся глухой звук. От яркого света заболели глаза. Хотелось ударить кулаком по тонкой перегородке, отделяющей явь от небытия, тьму от света. Но тело продолжало оставаться свинцовым. Я видел себя со стороны, видел все свои 5300 дней жизни, они ещё дышали, лёжа под обломками... подумал, что сейчас эта жизнь закончится. На кого я оставляю мать и сестру, наш сад с белками и кроликами, музыку Листа и это звёздное небо... Всё завертелось вновь.

– Это твой последний бой, Вольфи!

Рухнула разом суета. Весь этот бурлящий, шумящий, пульсирующий и взрывающийся мир исчез. Остался только человек в белом, лица не было видно.

– Кто ты? Ангел? Демон? Кто же?

Я не слышал своего голоса.

– Кто бы ни выиграл этот бой, ты его проиграешь!

Это был не голос. Это было гулкое эхо, громогласный фонетический каркас слов, внутри которых плавала буква духа.

– Но почему? Ведь я никого не убивал. Я не нарушал десяти заповедей! Я знал, что сёстры Вагнер прячут на своей даче в Нойкёльне

подростка-еврея, но я не выдал их. Когда оберлейтенант Зильбер приказал расстрелять старого Фрица Цандера из фольксштурма, я вступился за него, сказав, что у того четверо детей.

– Но Зильбер всё равно расстрелял его.

– А что я ещё мог сделать?

– Все солдаты убийцы, разве ты не знаешь об этом?

Свет стал меркнуть, я увидел удаляющуюся спину. Формулировка последней фразы была мне знакома, кто это сказал? Фигура мимикрировала, превращаясь то в солдата, то в офицера, то в санитаря...

Мысли начали соскальзывать как приговорённые в «си мажор»... Я чувствовал себя марионеткой, висящей на дряблых нитках, ощущал, что доверие к жизни вытекает из меня по капле, как кровь, а ум сжимается в низкую температуру помрачения. Последнее, что я увидел – гигантская волна, перекатывающаяся через головы барахтающихся людей...

Голос рассказчика умолк.

Ползучий ветерок мягко ткнулся в наши спины, кроны деревьев отражались в небе, листья их были лёгкими, как серебряные Эльфы. Девчонки - купальщицы скользили в гибких потоках горячего заката. Синие тени легли на кусты и стали следить за солнцем, вытягивая длинные носы...

Мой собеседник ушёл в себя, забыв на стуле застывшее тело и ненужное лицо, похожее на опустевшую витрину. Жизнь, затаившаяся где-то внутри, ничем не выдавала своего присутствия. Вдруг я услышал:

– Трудно быть ангелом в аду... Я хочу вернуться туда. В тогда. До сих пор отчётливо вижу зябкие ночные очереди у булочных, слышу бухающие голоса зениток, людей, обитающих в земляных норах... Я словно открыл ящик Пандоры, ищу, на что выменять хотя бы одну минуту прошлого. Я смог бы многое изменить в своей жизни, повернуть её ось.

Жизнь человека как роман. Его сюжетный ход не возникает ниоткуда, он подготавливается тысячами предварительных мелочей. Я видел конец бесславного поколения, наша страна развалилась, потому что была только подделкой под страну.

Но я ищу причины неудач в себе. Оправдание – удел неудачников, самокопание заводит в трясины, и с ним идёт багаж обвинения в смертных грехах. Тогда мы понимали, что в нашей жизни произо-

шла катастрофа. Это мы чувствовали. Но мы не понимали, не могли понять, что это не только наша беда. Это будет бедой наших детей и внуков. Они тоже будут оправдываться и задавать одни и те же вопросы...

После паузы он продолжил:

– Я выпил свою жизнь, но не стал мудрей. Годы меняют свои номера с пулёмётной скоростью. Пришла осень жизни, похожая на капучино. Уходят в небытие друзья и родственники, их голоса с каждым годом становятся всё тише. Я видел, как они плакали, наблюдая, как меняется их лицо и тело. Я не плакал никогда, даже тогда, после операции, увидев, что руки у меня нет...

Он опять замолчал. Я чувствовал, что мощное движение памяти несло его, как утопленника в непрекращающийся водоворот, из которого мучительно высвобождались видения. Его прошлое стало фрагментарным, оно разошлось по консервным банкам исторических событий...

Я поднял голову. Прозрачное колесо дня вращалось всё медленнее сквозь бездонную алость, липы уже готовились к своим душистым метаморфозам. Их кроны рассказывали ветру всё, что им приснилось за долгий век. Солнце уходило, чтобы сойтись с тишиной на исходе дня.

Вечер лизнул нас прохладой шершавого языка.

Внизу, под ногами, была река. В её неподвижном зеркале отражались человеческие жизни, поколения людей. Гренадёры Фридриха, легионеры Вильгельма, парни из гитлерюгенда, советские солдаты. Где-то там была и его молодость...

Память внезапно вынеслась на её орбиту. Это было не зрение, не слух, не игра воображения, а чувство. Память оплела её и запечатлела, но так и не смогла пробиться сквозь толщу времени...

– Ты знаешь, что такое звук тишины?

Сейчас тишина иная, а тогда она казалась чудом. Я отдал бы всё, чтобы услышать ту тишину. Мы не успели и не могли к ней привыкнуть. Казалось, что кто-то притаился где-то рядом, чтобы снова пальбой, взрывами и смертью развеять и растоптать блаженство тишины, отнять эту последнюю надежду... Потом начался обратный отсчёт времени. Каждая минута, каждый час и день были как алмазные капли, падающие майским утром с крыш...

От каждой прожитой минуты исходило свечение, она была как не-

веста. Я никогда больше не испытывал такое. Я ходил в лес и слушал его лиственный рокот часами. Я не знал, что шёл кратчайшим путём к Богу. Но по изломанной линии.

Я – пастор.

Я одинок.

Но я вполне освоился внутри своего одиночества. Я служу людям.

А теперь прощай! И он протянул мне руку. Пожатие было тяжёлым, как у командора.

Затем добавил:

– Каждый человек рано или поздно пройдёт тест на испытание... станет Иовом...

И внезапно:

Понял ли ты, что я тебе... только снюсь?..

Что это было за лето!

Но и оно закончилось. «Наши» всё-таки проиграли. Мы со Стасом поймали таких судаков, что с трудом смогли их унести...

Память спрятала всё лишнее из этого лета, но в нём остался человек, который плыл, рассекая мутную толщу времени...



КИРИЛЛ РОМАНОВСКИЙ

НЕ ХОДИ КО МНЕ В ГОСТИ

Не ходи ко мне в гости. Здесь нечего есть. Угрюм
И побит погодой, тебе не налью я чаю.
Здесь молчат и курят, ты ж видишь – молчу, курю.
Выдох – вдох: на твои вопросы не отвечаю.

Покури-ка со мной. Поточила меня тоска,
Нажралась кишками до сытых утробных матов.
И ноябрь кач-кач-качается, как доска,
Проскользнувшая в ночь меж фальшбортов моих фрегатов.

Я не знаю, какого ещё мне хотелось рожна.
Кую помощь в своих скорбях аз обрящу в чужом народе.
Ни свобода, ни дружба мне глупому не нужна,
Не важна погода, и сам я не важен, вроде.

По ночам я пятнисто дёргаюсь, как форель,
На крючке твоей достопамятной укоризны.
По утрам смотрю (как смотрел бы фламандец Брель)
На печальную плоскость недавней своей отчизны.

Видно здесь за обоями вправду таится Бог,
Смотрит, как я сижу, от печалей своих балдея.
Приходили, курили, спали, а уходил, – кто смог.
Видно, несть в дыму ни эллина, ни иудея.

Впрочем, нет...Приходи! Ничего...Мы проветрим. Мы
Макарон каких-нибудь купим и приготовим.
Пусть ноябрь качается тихо в волнах сурьмы.
Ты успеешь ещё покурить и нахмурить брови.

ПОСТ-АВТОСТОПНОЕ

Отшумело шоссе. Здравствуй, город! Я снова с тобою...
Всё на месте: метро, супермаркет, пивнушка, квартира.
Покурю на балконе под лысым древесным прибоем,
На скрипучем краю своего коммунального мира.

Наконец-то пойму, сквозь никчёмны беззубые рифмы,
Бесполезны попытки сравнений и определений.
Я вернулся. Зачем я вернулся, скажи мне?! Скажи мне!
От прострации к хлебу, от жизни к безбожью и лени?!

Вновь закончилась трасса. Процокал стальными конями
По обочинам сказки, по грязи октябрьских прелюдий.
Мне гореть у обочин! Гореть красно-жёлтыми днями!
Хорошо ли горю, хорошо ли горю я, скажите мне, люди!

Хорошо ли мне мчать сквозь страну; изнурять постоянно
Полумёртвую реку немецкой шоссейной дороги?
Здесь растут ветряки. Это всё, что растёт из тумана.
Никаких возвращений. Педали. Педали и ноги.

Эти ноги – чужие. Здесь кресла – всего лишь постели.
Для меня – человека без возраста, внешности, класса.
Я лечусь от себя турником и тяжёлой гантелей,
От тебя меня вылечит серая мокрая трасса.

MICE AND MEN*

Никаких возвращений туда, где теплее и тише
Быть не может. Увы, не вернуться обиженной мыши
В разорённое плугом тепло дорогого гнезда.
На виду у небес и земель, у вагонов и станций
Суждено этой твари бездомной тощать и скитаться,
Ощущая, как в лужицах глаз остывает звезда.

Только тело звезды всё растёт и растёт год от года.
Из мышинных очей вытекает простор небосвода,
Поглощая любое свечение иных перспектив,
Кроме хитросплетений отныне чужой канители,
Нор чужих и окурков чужих у чужой же постели,
Торопливых любовей со множителем «не ахти».

От подобной подборки бесцветных и жиденьких истин
Прекращает движение маятник внутренней жизни
(мол, сумел не разбиться, но прочно сидишь на мели),
Потому-то и смотришь с испугом на трупик мышинный,
Припечатанный к трассе тяжёлой рифлёною шиной...
И на звёзды, которым по-прежнему не до земли.

* «Мыши и люди» - повесть Джона Стейнбека.

ТЕОРИЯ НЕВОЗВРАЩЕНИЯ

Снова перст раздражения долбит в висок
Как снаряд в стену старого форта.
Но изволь, я припомню тот жёлтый песок,
Тот мысок итальянской ботфорты.
Я оттуда на дне чемодана привёз
И блуждания звёзд над волнами,
И блуждания волн под тропинками звёзд,
Наблюдаемых нами.

Я составлю сухой и подробный трактат
О теории невозвращения,
Где помножу твоё и моё Никогда
На примерную скорость вращения
Небосвода над синькой тирренской волны
И на мыслей своих вереницы.
В результате получится скромное «Мы»
Вне любых дефиниций.

При условии, что «Мы» – это величина
Положительная, без подвоха.
И сухим отрицанием не начинена
(Что по-своему тоже неплохо),
Погружусь в извлечение разных корней,
Результат свой нещадно корчуя,
Всё, что было внутри снова станет вовне.
Ну так что ж получу я?

Наконец получу я себя самого
Без добавок и примесей вздорных.
И как новый Роланд буду славить Его
Громким пением смелой валторны!
Я Его математику в сердце пронёс
Через то, что устало быть «Нами»!
И как прежде прекрасно сияние звёзд
Над морскими волнами.

РОВЕСНИКУ

Всем обломилось на войне:
Кому разок, кому вдвойне.
Тебе и мне... Вот в пятерне
Сторожко спит цевьё.
За валом – даль, за далью – вал,

Но кто б по ним не горевал,
Ты врос, как сорная трава
В безвременье своё.

О дедах, право, не пою.
Спасибо им за тот июнь.
За Май, за веру за мою,
Что с кровью повита.
«Да, это было, но давно!»
«Войну мы знаем по кино».
Но хоть ты рогом, – всё равно
Не помним ни черта.

Что ж до отцов: Аллах велик...
Охряный жар чужой земли
Сердца перепахал в угли,
Тела – в песок и тлен.
Что нам до них?
«Шишиг»* конвой,
Сирены запоздалый вой...
Тень армии сороковой,
Не вставшая с колен.

Чужие, жуткие места:
Соланг, пустыня Регистан.
История, как рупь, проста:
– Поможем!
– Нако-сь на !!!
Прём на броне из веси в весь!!
– Чегой-то я в кровище весь?!!!
– «Блестяшку вот на грудь повесь» –
Ответствует страна.

Забыли вроде бы...
Но вот,
Опять сорвался в темень взвод.
Возобновляется завод

Игрушечной чумы:
Арсен, Хаджибекир, Иван
Бьют ингушей и молдаван,
Азербайджанцев... Не нова
Картина, – это мы.

Благословен будь, сон раба:
Безмолвные лежат в гробах
И Босния, и Карабах,
И ржа сердечных сот.
Что ж, всякий весел, всякий рад,
Но где-то там твой старший брат
В свежайший вплавлен Сталинград.
Не дрейфь, «кругом пятьсот».

Забыли...
Мы ж – иной замес.
Аргун, Шатой и Гудермес:
В коллектор сумрачных небес
Нам дверь отворена.
Одна дыра, один окоп,
Рязань уходит и Майкоп.
Куда-то очень далеко,
Куда-то «на хрена».

Проспать, забыть, залить, уйти –
Вот вехи нашего пути.
Сто сорок раз ты не хоти,
Но хоть представь разок,
Что где-то Бог рисует смерть,
Что есть на карте Улус-Керт. **
Твоё безвременье – мольберт:
Мазок, ещё мазок...

Я много слышал об огне
От тех, кто был не за, не вне.
Мы все в войне, по грудь в войне,

Так вспомни, ё-моё,
Что вслед за валом будет вал,
За далью – снежный перевал.
Я так хочу, чтоб ты прервал
Безвременье своё.

* «Шишига» – ласкательно-уменьшительное название грузовика ГАЗ-66

** Улус-Керт – село Шатойского р-на Чечни. 29-го февраля 2000г. на высоте 776 в пяти км от этого села 6-ая рота 104-го Гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с двумя тысячами чеченских боевиков под предводительством Хаттаба, собственными жизнями заградив бандитам путь через Аргунское ущелье в Дагестан.

МИХАИЛ ГОРДИН

КАРНАВАЛ

Мы прилетели к вечеру. Переоделись и помчались на набережную. – Мы в Рио! Мы на карнавале! – завопила Лили, жена Рихарда и окунулась в толпу. Регина не отставала. Мы с Рихардом старались не выпускать их из виду. Гремела самба, ноги поддавались ритму. Все толкались в радостном возбуждении.

Нас окружила стайка танцующих бразильцев. Полуобнажённая мулатка, яркая, как эротический плакат, увлекла Рихарда за собой. Он подпрыгивал под музыку, как ручной медведь. Передо мной вертела соблазнительным задом девчушка, прикрытая только тонкими полосками ткани. Её руки находили на мне самые чувствительные места. Жаркая волна пробежала по телу. Вот так праздник! Вот так карнавал! Она прижалась, извиваясь по мне, как змея, отпрянула и растворилась в толпе.

Мне стало не по себе. Я машинально провёл по карманам в поисках сигарет. И не нашёл ничего – карманы были пусты. Оглянувшись, увидел над толпой голову Рихарда, устремился к нему, но опоздал. Его джинсы были вспороты, сквозь разрезы проглядывали трусы. Он растерянно топтался, оглядываясь по сторонам. Появились наши женщины. Они, держась за руки, пробирались сквозь толпу и смеялись. Майка на Регине вздёрнулась до груди.

Мы вышли на улицу, по которой ползли автомобили. Рихард оставил такси и начал путано объяснять, что расплатится в отеле. Шофёр глянул на его разрезанные брюки, хлопнул дверью и укатил. Через минут десять история повторилась. Мы стояли на тротуаре, обливаясь потом. В горле пересохло. Начал сказываться долгий перелёт, перемена во временном поясе. Мы оказались в чужом городе, без копейки, и не знали, где наша гостиница.

Мы поплелись в направлении музыки, пересекли карнавальный поток, дошли до моря. Рихард ссутулился, руками сжимал прорехи на джинсах.

Все уселись на песок. Пляж был в тусклом освещении. Мускулистые поджарые парни со спасательной станции собирали складные стулья и нанизывали их на цепи. Подошёл запоздалый продавец воды и улыбнулся. Лили подскочила к нему.

– Нам нечем заплатить. Нас обокрали, слышишь, обокрали.

Он, не понимая, замотал головой. Лили, маленькая, изящная, жестами, и парой слов объяснила ему, что она думает о бразильцах, показала дыры на штанах. Видимо, он понял. Он захохотал, хлопая себя по ногам. Ящик с напитком стеснял его движения, он бросил его в песок и задёргался от смеха. Вдруг он опомнился, нагнулся к своему ящику, наполнил четыре пластиковых стакана и раздал нам. Мы жадно выпили. Он наполнил их ещё раз. Объяснил, что его зовут Жоан, и он отвезёт нас в гостиницу.

Волны несли нам своё тёплое дыхание. Все приободрились. Только Рихард сидел понурившись. Лили придвинулась к нему и обняла.

– Рики, какой ты славный, когда не орёшь и не командуешь – проворковала она. – Таким он был, когда я в него влюбилась. За такого вышла замуж. Он работал водителем крана. Приходил домой усталый, принимал душ, шутил. У нас были друзья, хорошие, весёлые. Мы вместе жарили сосиски, пили пиво. А потом он создал свою фирму. Всегда напряжение, крики. В последние годы я вижу его раз в две недели, приезжает нервный, не отходит от телефона, командует, орёт. Он водит меня в дорогие рестораны, от его чаевых официанты чувствуют себя неловко. Напивается, кричит. По дороге домой засыпает. Вроде у меня нет мужа!

– Успокойся, котёнок. Доберёмся до отеля, и всё наладится. Наши паспорта и деньги в сейфе. Потерпи!

Появился Жоан. Он отвёз нас на своей дребезжащей машине. Рихард вынес из гостиницы толстую пачку денег, устремился, было к Жоану, но, поровнявшись с нами, решительно передал деньги мне.

– Теперь командуешь ты, до самого отъезда.

Мы хорошо провели оставшиеся дни. Шум карнавала надоел. Утром пляж. Потом долгая сиеста в гостинице, полная любовного потока. К вечеру за нами приезжал Жоан. Мы ходили в ресторанчики, куда редко заглядывали туристы, ели острую бразильскую еду, пили крепкую кукурузную водку, купались ночью в тёплом океане. Рихард был тихим и покорным. Не отходил от Лили. Когда его глаза цеплялись

за какой-нибудь круглый зад, я показывал ему кулак за спиной, и он успокаивался.

Время пролетело быстро, как во сне. Перед отлётом Регина и Лили собирали чемоданы. Мы с Рихардом уселись на балконе. Пили виски и глядели на город, светившийся перед нами.

– Всё было хорошо. Если бы не эта кража... – прервал я молчание.

– Тео, ты глупец – улыбнулся Рихард. Кража – самое замечательное, что могло с нами случиться. Последние годы всё было плохо дома. Я из кожи лез вон, но ничего не помогало. Купил ей самый дорогой кабриолет, но она ездит на такси – за рулём она не может выпить. Покупаю ей бриллианты – радости ровно на час. Она запирает их в сейф и упрямо носит свою яркую бижутерию. У нас украли – тьфу, пятьсот евро, и целая неделя – как медовый месяц.

Рихард вскочил, сложил руки рупором и заорал во всю мочь.

– Бразильские воры! Я люблю вас!

Его голос эхом поплыл перед гостиницей.

«АРОМАТИК – ЭЛИКСИР»

По дороге пришло в голову – подарить Регине духи. Я сразу понял, какие. Не могу забыть впечатления, которое они произвели на меня. Это было в Вене. Лет пять назад.

Мы с Рихардом, моим боссом и приятелем, зашли выпить кофе в бар нашей гостиницы. Проходя вдоль стойки, я почувствовал запах, от которого всё закружилось вокруг. Этот запах клубился возле женщины, сидевшей к нам спиной. Я остановился, как вкопанный. Помню её тонкий силуэт, чёрные волосы, блестевшие на солнце. Запах был пряный, сильный, отдающий загадочными дальними странами. В нём чувствовались тропические цветы. От него подламывались колени.

Я вошёл в кураж, приблизился к женщине и замирающим голосом произнёс: «Простите, но я не мог пройти мимо. Как называются духи, вскружившие мне голову»? Она медленно поворачивалась, и ещё не успела взглянуть на меня, как я понял, что ошибся – она никак не соответствовала образу, который возник у меня. Её лицо было грубоватым, руки не ухоженными.

Она глянула мне в глаза пристальным профессиональным взглядом, и произнесла, чуть улыбнувшись: «Духи – это женская тайна». Голос её неприятно скрипел. Я всё же решил не сдаваться. Чуть-чуть, на миллиметр, подался к ней, театрально повёл головой, и зашептал:

«Я готов на всё, только скажите мне название». Она удивлённо, не сдерживаясь, улыбнулась моему дурачеству и выплеснула: «Ароматик-Элексир», от Клиник. Эти духи не рекламируются и мало известны. Теперь Вы слишком много знаете обо мне».

Рихард прихватил ту, вкусно пахнущую женщину, к нам в номер. Долго шумел с ней за тонкой стенкой. Он щедро расплатился, но она не торопилась уходить. Вдруг подошла к моему креслу и пригнувшись, как заговорщик, сказала: «Я готова сделать это с вами бесплатно». Рихард с одобрением посмотрел на неё и оживился: «Лёничик, пойдёшь с ней. Она совсем не плоха».

У меня не было желания удовлетворять её любопытство. Она ушла, поджав губы.

Рихард резвился: «Ты – не джентльмен. Ты – лентяй. Тебе трудно доставить женщине маленькую радость? Меня никогда женщины не просят. Я сам добиваюсь их. И плачу. Я люблю платить. Любой труд должен быть оплачен». Он не успокаивался: «Ты знаешь, что такое – получить от проститутки предложение сделать это бесплатно? И ты отказался? Да ты просто плюнул ей в лицо».

Рихард поднял телефонную трубку и стал набирать длинный номер. Пока он возился с телефоном, его медальное лицо принимало всё более серьёзное выражение. Я понял – он звонит своей жене. «Сердце моё» – скажет он и заведёт долгий разговор с придыханием и сюсюканьем. Он делает это каждый день, где бы не находился.

Я тихо вышел из номера и отправился в бар допивать свой кофе.



НОРА ГАЙДУКОВА

УТРАТА

После чтения книги «Скрипач из гетто»

Когда я вижу немцев пожилых,
невольно ощущаю я смятение.
Евреев, что погибли среди них,
мне чудятся страдальческие тени...

Ах, это всё фантазии мои.
Те немцы, может быть, не виноваты,
Но что-то снова омрачает дни,
как-будто близких вечная утрата...

НА ЧУЖОМ ЯЗЫКЕ

Бернду

Лучший стих я тебе не прочту в этот раз.
На чужом языке говорю с тобой, милый.
Но язык твоих рук и язык твоих глаз
Окружают меня и любовью, и силой.

На чужом языке ты мне шепчешь: «Люблю!»
На чужом языке я тебе отвечаю.

На чужом языке нашу тайну храню,
и тебе одному я еёверяю.

Этот чуждый язык страх и горе сулил,
Сеял смерть и тоску, уничтожив надежду...
Но теперь я на нём о любви говорю,
и теперь для меня не звучит он, как прежде.

* * *

Проживая с трудом без тебя эти дни,
Из них каждый стать может последним,
На ладони пишу я: «Не обмани!»
И смотрю на куртку твою в передней.

В восемнадцать разлука совсем не та.
Море времени бьётся о берег надежды.
А сейчас без тебя жизнь темна и пуста
И деревья, как слёзы, роняют одежды.

* * *

Играет кто-то короля,
а кто-то свиту.
Подарит каждому земля
свою орбиту.

Проходят мимо короли,
вас не заметив.
Себе вы роли не нашли
на этом свете.

Грустит и мается душа,
словам не веря.
Попробуй, выйди не спеша,
за эти двери.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДЕТИ

Ах, компьютерные дети,
Вы одни на белом свете,
Телевизор, плеер, диски,
Через чаты переписка,
М-Пи-драй и Аи-Пот.
Техпрогресс вперёд идёт,
Где друзья и где прогулки?
Опустели переулки...
Свет экрана. Где вы, дети?
Мы одни на белом свете.

СОБАКА

«Мы в ответе за всех, кого приручили»
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Да, я бездомная собака,
продрогла, стоя у моста.
Ты подошёл меня погладить:
Я так устала. Я грустна.

Я за тобой бегу упрямо,
виляя преданно хвостом.
Ах, не гони меня, хозяин,
позволь войти с тобою в дом!

Но ты ногой меня ударил.
Не сильно, - всё же испугал.
И снова под мостом оставил,
где листьев кружит карнавал.

УТРО В ПРАГЕ

Утро в Праге...
Паук плетёт паутину,
Словно пишет картину.
Франц Кафка,
Приняв обличье инсекта,
Стакан наполняет зектом...

.....
Проснулся еврейский город.
Тени народу вторят.
Раввины в чёрных одеждах,
Евреи живут надеждой.

Время растаяло строго.
Испанская синагога
Стонет под гнётом туристов.
Вокруг удивительно чисто.

Топот по Карлову Мосту.
Христос высокого роста.
Летит широко над Влтавой,
Все были когда-то правы.

Пошли на продажу просто,
Подряд и кресты, и звёзды.
Старинных зданий фасады,
Скульптуры, дворцы, ограды...

Но лишь декораций чудо,
Задвинешь старым трамваем,
Из сонных щелей повсюду:
Жизнь пыльная и скупая...



НАТАЛЬЯ ГОРБАТЮК

ДОЖДЮ

Приходи, почитаю стихи!
Без бокалов, боа и свечей,
Без иных тривиальных вещей.
Я – ничья, и ты тоже ничей.
Просто сумерки так коротки,
Приходи, почитаю стихи...

Постучишься в балконную дверь,
Но не сразу войдёшь, до поры
Сбив оскомину летней жары,
По асфальту погонишь шары
Вязкой пыли. И в вихрях портьер
Просочишься в балконную дверь.

Я пришёл, почитай мне стихи!
Без закатов, зонтов и плащей,
Без иных каждодневных вещей.
Ты – ничья, и я тоже ничей.
Наши сумерки так коротки.
Я пришёл, почитай мне стихи...

* * *

Себе

Лунный свет на ресницах и веках
Ни от лет, ни от дум не погас.

Успокой, успокой человека
Влажной зеленью собственных глаз

И терпением, и тёплой рукой,
И изящной строкой. Успокой.

НЕДИЕТИЧЕСКИЙ СОНЕТ

«Я гимны прежние пою»

А.С.Пушкин

Когда диета тощая претит,
Я на неё плюю неосторожно,
И мой неукротимый аппетит
Глазурью закипает на пирожном,

Дрожит глазуньей на сковороде,
Куриной ножкой смотрит из бульона,
Упругой пшёнкой плещется в воде,
И дразнит, дразнит белым шампиньоном.

Кудрявой булкой машет из ларька,
И пивом, и поджаристой сосиской,
И хатманже, и веткой шашлыка...
И до центнера близко! Ой, как близко!

Калории – на талию мою...
Но им я «гимны прежние пою.»

ОТРАЖЕНИЕ

У пустеющей пристани
Потемнела вода,
И к полуночи пристальней
Смотрит с неба звезда.

На волну ли, обманщицу,
Что шалит на песке,
На нагую купальщицу
С полотенцем в руке,

Иль себе в утешение –
Дальнозоркой звезде –
На своё отражение
В полуночной воде.

ЕФИМ БАРЕНБОЙМ

РАХИЛЬ

В ящике кухонного стола, где лежали вилки, ложки и ножи, царило оживление. Новая, молодая вилка по прозвищу «непоседа», после завтрака, в присутствии всех членов семьи, сообщила интересную новость: хозяин уезжает на постоянное место жительства в Германию. «Непоседу» распирала гордость перед подругами и друзьями, что именно она оказалась виновницей небывалого переполоха в кухонном ящике. Молодые вилки и ложки наперебой обсуждали прелести новой жизни за границей. Даже десертный нож, которым по бедности редко пользовались в этой семье, высказал свою точку зрения, что там ему не придётся лежать без дела. Всех волновала мысль: возьмут ли их с собой или выбросят на помойку за ненадобностью.

Новый набор вилок, ложек и ножей, который подарили хозяину перед уходом на пенсию шесть лет тому назад, был уверен, что их не оставят на произвол судьбы. Из всех вилок только одна, с отогнутым зубцом, не выражала особой радости о своей дальнейшей судьбе: кто же возьмёт за границу кривую вилку, от которой здесь все отказывались?

Особый восторг от предстоящей поездки выражал нож по имени Фриц, сделанный из добротной немецкой стали «золинген». Он подавал отрывистые команды «Хайль» и звал всех в фатерланд. В кухонный ящик Моти Глейзера, хозяина квартиры, Фриц попал в конце войны. Его привёз отец Моти, Наум Глейзер, старший лейтенант Советской Армии.

И только одна, очень старая серебряная ложка, по имени Рахиль, была в отчаянии. От одной мысли, что надо ехать в Германию, её охватывал неописуемый страх.

В семье Глейзеров Рахиль появилась в конце девятнадцатого века со своими пятью сёстрами и серебряным сервизом на шесть персон. Это был подарок к тридцатилетию Мотиного дедушки. Сколько воды утекло с тех пор, сколько погромов пережила Рахиль за свои сто с лишним лет. Первый погром случился в девятьсот шестом году, в разгул народного движения, вскоре после первой Русской революции. Пьяная толпа черносотенцев ворвалась в дом Глейзера, сметая и грабя всё на своём пути. От серебра, которого было около тридцати предметов, чудом осталась она одна. Можно сказать, что ей повезло. В то утро маленький Наумчик, чтобы не есть манную кашу, швырнул Рахиль под кровать. Весь погром Рахиль провела там в холодном поту, боясь быть обнаруженной. Там она пролежала целую неделю, пока Наумчик не достал её оттуда, когда играл с мамой в прятки.

В двадцать седьмом году, рано, на рассвете, с обыском нагрянуло ГПУ, чтобы арестовать нэпмана и врага народа старика Глейзера. Тогда Рахиль оказалась в куче ненужного барахла на антресолях. Не обратив внимания на эти вещи, чекисты увели семью в отделение милиции, где продержав сутки, отпустили домой.

В сорок первом оккупанты приказали всем евреям взять с собой продукты и самое ценное и собраться в двадцать четыре часа. Старый Глейзер вместе с семейными ценностями положил в узелок и Рахиль. Их гнали под конвоем от Прохоровского сквера на слободку. Шестилетний Мотя, плача, держался за подол маминого платья. Рядом, с трудом передвигая ноги, ковылял дедушка и читал молитву во спасение еврейского народа. Один из охранников, крикнув «Шнель», прикладом винтовки ударил дедушку по спине. Старик Глейзер, не удержавшись на ногах, упал на мокрую дорогу. Из кармана пальто выпали драгоценности, а Рахиль, отлетев в сторону, упала в грязь. Там её придавили идущие в колонне евреи. Дедушку пытались поднять, но дальше идти он уже не мог. Его пристрелили на глазах Моти и его мамы. Евреев погнали дальше, а лежавшая в грязи Рахиль, будто кричала, чтобы её не оставляли одну. Через несколько шагов Мотя наступил на твёрдый предмет, который и оказался ложкой. Вытащив её из грязи и спрятав в карман пальто, мальчик пошёл за мамой по дороге смерти.

Колонну евреев пригнали в гетто, в котором, несмотря на все лишения, семье Глейзеров удалось выжить. Затем они попали в партизанский отряд. После освобождения Одессы семья вернулась в свой

дом. Серебряная ложка Рахиль заняла своё место в кухонном столе, в котором долгое время оставалась одна.

После всех мытарств Рахиль постарела, покрылась тёмным налётом, но продолжала радовать семью Глейзеров. Борьбу с космополитизмом, «дело врачей» и пятую графу – перенесла стойко. И вот, на старости лет, когда Матвею Глейзеру пошёл восьмой десяток, хозяин дома, под давлением детей и внуков, решил переехать на постоянное место жительства в Германию. Рахиль хотела остаться, но старый Глейзер взял её из кухонного ящика одной из первых. Он завернул ложку в чистую фланелевую тряпочку, перевязал тесёмкой и сказал: «С этой серебряной ложкой я прожил всю свою жизнь. Она нам надёжный семейный талисман».

Прошло немного времени, и Рахиль оказалась в Германии. В новой стране ей совсем не страшно. Старик Глейзер из всех ложек предпочитает есть немецкий супчик только ею.



ЕЛЕНА ЗЕЛЬГЕР

ФОТОГРАФИЯ

Фото врут.
Им не верьте потомки!
Лишь улыбки попали на плёнки,
Только праздники дней безмятежных
Пышных бантиков, чёлок прилежных.
Будто не было жизни обычной,
Без наглаженных белых манишек,
Будто не было грязи фабричной,
Слёз, кладбищ, похорон и ошибок.

Почему ты не сделал, фотограф,
Утра раннего зарисовку:
Смяты, серы постели и лица,
В школе очереди в столовку...
Почему откровенную правду
Не поставить в красивую рамку?
Это жизнь – так мы жили взаправду,
Как кристалл проходили огранку.

ПОРТРЕТ

Я гляжу на портрет –
Мне пять лет:
Белый бант, пух волос,

Глаз раскосых серьёз.
В них как-будто ответ
На забытый вопрос...
Мой любимый портрет –
Мне пять лет.

Брошу в зеркало взгляд –
Время катит назад,
Будто не было прожитых лет.
Где ответ на вопрос,
Что заставит всерьёз
Посмотреть на ребёнка портрет?

ДЖАЗ

Крик-спазм
хрип саксофона
костюмчик – беж
галстук зелёный
ботинки – шик
видать со скрипом
спазм крик
и «гоп-со-смыком».

Джаз-банд
виляют бёдра
голос окреп
выводит твёрдо
поднялся ввысь
до писка-крика
тишина – брысь!
оглохни в крике.

Джаз-спазм
плачь саксофона

высший оргазм
в ушах до звона
браслета блеск
запястья тонки
полётом рук
как у девчонки...

И львиный рык
лужёной глотки
внезапный всхлип
солидной тётки
хлопками в такт
в разлёте локти
и дикий зверь
упрятал когти...

Так вот он — джаз
зверь этот дикий
всё напоказ
и плач и крики.

АСЯ ПРОЦКО - ВАЙСБЕРГ

ВЕРСИЯ

Телевизионный ведущий Н. Н. Дроздов рассказал об архитекторе, создавшем на одном из Канарских островов «космический сад». Он обработал поверхность застывшей магмы, – устроил гроты, поставил столы и скамейки, из Европы привёз в мешках землю, разбил клумбы и засадил диковинными растениями. Получилось чудо.

И рассказчик, уже на выходе из сада, дотронулся рукой до зелёных сочных листьев кустарника...

– Ах! Вот она, легендарная красавица Мандрагора!

Это было то ключевое слово, которое направило мысль дальше, – в пушкинскую эпоху.

– Мандрагора!

Она действительно была лидером среди оберегов конца XVIII – начала XIX веков.

Засушенные её корешки напоминали смешные скрюченные фигурки человечков и считались самыми желанными талисманами...

И сразу:

– Пушкин. «Храни меня, мой талисман...»

Но было ли гадание цыганки?

Привиделось мне...

После ночи, проведенной в Аглицком клубе, поэт бросил ключ:

– К цыганам, к цыганам!

И кавалькада экипажей с бубенцами и гиком понеслась в трактир. Жажжены свечи. Зал полон музыкантов, певцов, танцоров. Искрятся бокалы с шампанским...

– Выпьем за Сашу, Сашу дорогого!

– А пока не выпьем, не нальём другого!

– Что-то барин не весел? Иль прихворнул немного?

- Ах, цыганка Маша, тревожно что-то мне...
- Э, барин, позолоти ручку. Скажу тебе всю правду: что было, что будет, чем сердце покоить.

И «цыганка гадала,
Цыганка гадала,
За ручку брала...»

За ту самую ручку, на пальцах которой были самые знаменитые перстни-талисманы, изображённые художником Василием Тропининым на портрете Пушкина. Перстень с чёрным агатом, подарок друга, Павла Нащокина. И второй – недорогой, в серебряной оправе с печаткой розового сердолика и текстом арамейского письма, подаренный любимой женщиной – графиней Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой.

«Цыганка гадала,
За ручку брала...»

- Тебя, барин, ждёт большая слава. Будешь жить долго, если в 37 ничего не случится...

Кто теперь может знать, достоверны ли эти слова? В 37 году века или на 37-м году жизни? Но, сошлось: 37 год века, 37 лет жизни в одно общее число тридцать семь.

Понеслась молва по Петербургу.

И эта встреча на улице с красавцем Дантесом.

И перчатка с вызовом на дуэль.

И вызов принят, «Лепажки»^{*} в нетерпении, час назначен...

И друзей нет рядом.

И серый рассвет на Чёрной речке.

И роковой выстрел, и смертельная рана...

И – к книгам: «Прощайте, друзья...»

И... «Солнце русской поэзии закатилось...»

Прошло 170 лет.

Как же слова цыганки?

Теперь мы уже знаем, и гениальная инженерия доказала, что Пушкин обладал геном долголетия. Род Пушкина подтвердил это на практике. Сын его, Александр, был участником двух войн, дослужился до генеральского чина и умер естественной смертью на 82 году жизни. И сейчас живы многие прямые потомки Пушкина.

^{*}*Дуэльные пистолеты.*



КОНСТАНТИН КЕРБЕЛЬ

ПАРА СЛОВ

Пару слов, бездушно, как-нибудь,
Сбросят с губ: «Страдавшие невинно!»
Вижу путь, крутой и страшный путь,
Кружащий и бесконечно длинный.

Строги и обрывисты слова, -
Горечь лет, надежд, стремлений муки.
Мысль о смерти держит голова,
Лишь тоску наводят эти звуки

«Номер! Стоп!» - Топорный профиль лиц.
Чёрствый хлеб, что губы жадно месят
И бросок на нары, грудью ниц,
Чтоб забыться хоть минут на десять.

Вижу всё и становлюсь я груб
С теми, кто дорог не видя длинных
Как-нибудь, привычно сбросит с губ
Пару слов: «Страдавшие невинно».

ЛИСТ

Здесь мы лист кленовый повстречали,
По размеру, цвету и слоям

Несравним он с братом на Урале,
Что живёт там с горем пополам.

Этот вот, берлинский, окаймлённый, -
Он разлапист, аккуратен, чист.
Мой, уральский, сажей задымлённый,
Грязен, как последний трубочист.

Маленький, взволнованный, дрожащий
На морозном, на сквозном ветру.
Этот, здесь, ухоженный, звенящий
Прёт, как сумасшедший, на «пару»

Листьев чахлах на Урале много.
Здесь, на каждом с номером жетон.
На учёте ветка-недотрога.
А у нас – топор, пила, вагон.

Очень жаль, что там, в моей России,
Той, с которой чувствую родство,
Не хватило ни ума, ни силы
Сохранить природы естество.

ВЕСНА

Посветлело и теплее стало.
Отметелил выюгами февраль.
Зимний, тусклый небосвод прорвало.
Мартом заискрился календарь.

Сколько лет прошло, но сердце просит,
Руки рвутся. Нежно жгут уста.
По ночам настойчиво уносит
Юности тревожная мечта.

Первая любовь – большая очень.
А потом: ещё, ещё, ещё.
Даже не весна, а просто осень
Счастье прилепила на лицо.

Всё. Смирился. Каждый день работа.
И проблемы, - трудно сосчитать.
Откровенно? Крайне неохота
Ворошить прошедшее опять.

Но когда один, и дома тихо,
Защемит в груди шальная боль.
И воспоминанья хлынут лихо,
Под глазами оставляя соль.

Вновь весна! И вновь открылись раны.
Сладостная боль – не задуши.
Я ещё люблю, а значит, рано
Мне лежать под листьями в тиши.

АНДРЕЙ КУЧАЕВ

ЛОКОН БОДЛЕРА

У Анатоля Франса есть рассказ о сумасшедшем библиофиле, который начал с коллекционирования просто редких книг, потом инкунабул и раритетов, потом только авторских подписных экземпляров, потом оригиналов авторских рукописей и закончил одним экспонатом в своей коллекции: локоном Бодлера в позолоченном ларце.

Странное путешествие! От жарких стихов к мёртвому телу и мёртвой книге в чужом хранилище. И, наконец, к мёртвой пряди волос.

Раз коллекционер построил из выше названных вещей свой ряд, значит в них усматривается какая-то связь.

Дела нет мёртвому поэту ни до книг, ни до локона. Если он сохранился в каком измерении, там его кровоточившее при жизни сердце нашло покой, а творчество, без которого такой человек, поэт, не мыслим, вернулось там к своим истокам. Оно очистилось от суетного. От книжных, бумажных доспехов и назойливых почитателей.

*Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода – куда черней чернила,
Знай – тысячами солнц сияет наша грудь!*

Шарль метался по Парижу. Он искал убежища. От самого себя. Знаменитый Бодлер, которого читала (о, нет, не читала!) вся Европа, без гроша в кармане метался по тёмным улицам, не в силах ни успокоиться, ни решить, к кому ему броситься сегодня. В своей квартире он бы всё равно не уснул. Не зря он написал матери: «Бывают случаи, когда

меня охватывает желание спать до бесконечности, но я как раз **не** могу больше спать, ибо мысли никогда меня не покидают...»

Только к женщине! Но к Жанне – нет, нет, сегодня он не готов **за-**стать её, как это обязательно будет, не одну. С тех пор, как она охладела к нему, Шарль стал замечать, что она намеренно окружает себя всей этой ненавистной ему сволочью. Эти жирные свиньи, дети второй Империи, «ублюдки Луи Филиппа» и без того невыносимы, но видеть их рядом с любимой (ну, пусть когда-то Любимой) – выше сил.

Заснуть, как спит скотина. Без рая и ада – оставим пошлякам! **Не** умереть, а спать животным сном без сновидений...

На этих улицах он испытал восторг в июне 48-го. Смешно вспоминать. Угар 49-го. Но всё же был и восторг. Оружие. И желание всадить пулю в брюхо... Да без разницы, в какое брюхо. Неистовство родит неистовство, и оно опрокидывает покой и порядок толстых, которые рано или поздно всё равно захватывают власть. Любая гнида, стоит ей захватить почту и телеграф, может управлять всем стадом.

Они судили его стихи. А? В уголовном суде. Как судят воров и убийц. Они вынесли обвинительный приговор. Они разорили его и издателей! Нет, он, конечно, плевать хотел и не выполнит решений суда, но сам факт!

Такие же выгнали из страны Виктора Гюго! Виктора, великого Гюго, который после суда прислал ему письмо, начинающееся словами: «Я кричу браво! Изю всех моих сил браво вашему могучему таланту. Вы получили одну из редких наград, которые способен дать существующий режим».

Таков удел настоящих поэтов. И так бы хотелось написать такую статью, чтобы вышвырнули наконец из этой проклятой страны!

Буржуа – страшнее только сам Сатана. Да нет! Сатана милее и ближе. Он – бунтарь! А в царстве жирных, в королевстве буржуев, где всё измерено деньгами и прибылью, нет места Сатане. Они изобрели своего бога! Американского бога по Франклину. Где со стен кричат призывы избавляться от младенцев ещё в утробе, а негров заковывают в цепи и сжигают заживо. И это хотят устроить здесь. Да что там – уже устроили. Мало двух Империй, построили третью!

А впереди у них четвёртая и пятая! Пусть она будет называться какой-нибудь республикой. Суть одна –

прибыль. Деньги. Чистоган. И будут наживаться на его книгах! Будут спекулировать его именем. С каким, интересно, лицом?

«Поэт упадка! Певец декаданса». Уроды. Борец с богатыми! Но это забудут.

Чёрт с ними. И с Жанной Дюваль тоже. Роскошная её плоть тоже когда-нибудь накроется землёй, прикроется дёрном. Останется только память в сердце.

*Да, мразью станете и вы, царица граций,
Когда, вкусив святых даров,
Начнёте загнивать на глиняном матраце,
Из свежих трав надев покров.*

Впрочем, и гордая Аполлония, его Беатриче, красавица Сабатье – что она без его любви? Пригоршня праха. Пища для червей в ближайшем будущем.

*Но сонмищу червей прожорливых шепнёт
Целующих, как буравы,
Что сохранил я суть и облик вашей плоти,
Когда распались прахом вы.*

К Сабатье он тоже не пойдёт. Потому что... Потому что сегодня ему нужен идеал. Нет, Идеал! С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.

А Сабатье слишком хорошо пахнет для этого. Что одни, что другие!.. О, эти запахи...

*Одни, как смрад могилы...
Другие – расколоть
Хотят сознание. И, чувства беспокоя
Порочной роскошью и гордостью слепой,
Нас манят фимиам и мускус и бензой...*

К чёрту!

В былые времена помчался бы к матери. Когда отчим почти не бывал дома. Уткнулся бы в колени. Но теперь... Когда они с отчимом учинили над ним расправу и учредили позорную опеку! Пожизненную! Оставили без куска хлеба на всю жизнь! Бросили на произвол издателей!

Да нет, она всегда оплакивала его путь, путь поэта: «Какое горе!»

А он любил её всегда и ненавидел её старого мужа, эту сановную

сволочь, выскочку – Опика. Нет, это не тот, первый Бонапарт, не маленький капрал, а просто большая свинья!

Теперь она вдова, но так и не сняла опекуинства.

О, ПРИЖАТЬСЯ БЫ К ЕЁ КОЛЕНЯМ И ВЫПЛАКАТЬ ДУШУ!

ОНА ВСЕГДА НОСИЛА НА ШЕЕ МЕДАЛЬОН С ЕГО МЛАДЕНЧЕСКИМ ЛОКОНОМ. Мать – Медея! Сорвать медальон! СОРВУТ ДРУГИЕ. После её смерти. Она переживёт его. Он это знает. Ведьма.

*Смотрите на меня, мне некуда идти.
Но Божество настичь пытаюсь я напрасно.
Укрыться негде мне от ночи самовластной.
В промозглой темноте закатный свет иссяк...*

*Сырой холодный мрак пропитан трупным Смердам.
Дрожу от страха я с гнилым болотом рядом,
И под ногой моей то жаба, то слизняк.*

Отвергнут матерью. Проклят матерью. Смотрите, зеваки:

*Я отвернуться мог, божественно спокойный,
Но вдруг я разглядел в толпе их непристойной
Её – которая в душе моей царит.
(И солнца не сошли с начертанных орбит!)
Смеясь моей тоске, отчаянью, невзгодам,
Она врагов моих ласкала мимоходом!*

Вот куда он пойдёт. К «Косоглазке». К той, кого перелюбил весь Латинский квартал! Кто торгует собой не таясь.

Шарль идёт к ней. Она переживает знакомого поэта, которого известная на всю округу потаскуха, убажает. Он остаётся с ней наедине и рассказывает ей, что мать, которая обрекла его на голодную смерть, носит локон его на груди в медальоне.

Петера радостно хохочет и хлопает в ладоши. Так ей нравится рассказ и сама мысль матери. Носить на шее локон сына, который должен умереть по её воле голодной смертью.

«Я тоже хочу носить твой локон на груди!»

Она отрезает у него некий локон с укромного местечка и прячет в свой медальон, откуда выбрасывает прядку своего ребёнка.

Шарль смеётся.

Об этой проделке узнают друзья.

«О! Когда-нибудь эта реликвия будет бесценной!»

Шутка пошла гулять. И долго девицы из весёлых домов хвастались своим кавалерам, что носят на груди «локон Бодлера».

*Сюда, на грудь, любимая тигрица,
Чудовище в обличье красоты!
Хотят мои дрожащие персты
В твою густую гриву погрузиться.*

Теперь он в золотом ларце собирателя. Жирной свиньи.

Стихи даны в переводах В.Левика, В.Микушевича, С.Рубановича, М.Цветаевой, И.Озеровой из книги Шарля Бодлера «Цветы зла», М., 1970, изд-во «Наука». (серия «Литературные памятники»).



ТАТЬЯНА УСТИНСКАЯ

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Когда-то я любила осень, -
природы золотой аккорд.
Теперь мне грусть одну приносит
багряных листьев хоровод.

Проходит жизнь: мечты и грёзы.
Надежды и заветные желания.
Не радуют уже стихи и проза, –
«Про пышное природы увядание».

Осенний день – он так недолог.
Печаль светла.
Я листьев собираю ворох...
Сгорят до тла
мечты и грёзы
прошедших дней,
как эти листья.
Что скажут звёзды
в астральном смысле?
Ведь им видней.

Зима утешит, весна приветит,
пропляшет лето: всему свой срок.

А осень даст на всё ответы
и чёткий подведёт итог.

Но я стараюсь не впадать в уныние.
Мне не позволено – дала зарок.
Причины грусти назову по имени
И выброшу, как мусор, за порог.

ВЕЧЕРОМ В ПЯТНИЦУ

Грустно кончается день.
В пятницу мысли пятятся.
Мне возвращаться не лень,
в прошлых годов неурядицы.

Напрасных стараний азарт.
Бессмысленных дел суета.
Ах, если б вернуться назад:
исправить, понять, навестать.

Не стоит себя упрекать,
барахтаться в желчи обид.
Дорога и так не легка,
кто любит, поймёт и простит.

«БАБЬЕ ЛЕТО»

Вернулось снова «бабье лето»
И новый поворот сюжета
Несёт сентябрьская примета.
Спешим допеть, что не допето,
Согреть сердца теплом и светом...
А мой любимый бродит где-то, –
Он не заметил «бабье лето!»

Вот и проходит «бабье лето».
Осенний аромат букета
Смешался с дымом сигареты.
О, как легко давать советы,
Забыв запрет на «то» и «это»...
Гляжу на старые портреты,
Пою забытые куплеты.
Ах, «бабье лето», «бабье лето»,
Прошу, открой свои секреты.

Как изменила путь планета,
Всю осень длится «бабье лето».



СЕРГЕЙ ШТУРЦ

FLYER

Лебединым клином, волчьими кругами
Или треугольником бермудским –
Всё датирую и всё сопоставляю,
Всё пытаюсь глупо улыбнуться.

На воздушном шаре, через Анды, в детство
(Крен на земляничную поляну),
С вязкой чернью, как потенциальным светом –
Целлюлозным упаду, рекламным.

Точной копией, в правах оригинала;
В цифрах, знаках, графиках, таблицах –
Рыба я, хотя, по гороскопу мало
Ею быть – ей нужно становиться.

* * *

Задержка дыхания на час.
Из кружева бархатных чаек
Одна долетела до нас.

И все центробежные силы,
Срывая намеченный план,
Выносят карманную прибыль
На наших потёртых плечах.

А солнце на грани столетия –
Всё дальше – и чёрная масть
На толстые римские стены
Руины меняет опять.

И смерть колесом покатилась,
На дьявольской алой оси
И что бы тебе не приснилось:
Не верь, не надейся, не жди,

Когда же взойдут легионы,
Безглавых, убогих времён
И мрамор застывшего моря
Живые скульптуры зальёт.

* * *

давление огранки
на плоскость твоих рук
остатки без остатка
алмазные падут
сапфировые глазки
в далёком Фаберже
смирительные сказки
в армейском рюкзаке
зубастых калифорний
акульи плавники
различных категорий

боксёрские шаги
дешёвых и не очень
компаний в облаках
холодный мир на ощупь
как йог на трёх китах.



• «ДО И ПОСЛЕ» • ПУБЛИЦИСТИКА. ЭССЕИСТИКА •



ЛЕОНИД
БЕРДИЧЕВСКИЙ

ПАСТЕРНАК

Заметки о художнике

Существует множество примеров тому, когда будущее становление Мастера формируется под непосредственным влиянием среды его воспитания. Чаще всего – родительского дома и первоначального учебного заведения. Это относится и к выдающемуся поэту XX века – Б. Л. Пастернаку.

Почти всем почитателям его таланта известно, что он родился, провёл детские и юношеские годы в доме своего отца – художника Леонида Пастернака.

Но, к сожалению, редко кому, в полной мере, известны работы этого художника. А между тем, с начала XX века и до самой смерти, он был знаменит и высоко ценим почитателями его таланта. Работы его имеются в постоянной экспозиции многих крупных музеев мира и частных коллекциях. В советские годы, на русском языке вышла небольшим тиражом единственная книга, автором которой явился он сам – «Записи разных лет». Советский художник, М., 1975. До этого лишь редкие упоминания о нём, да репродукции набросков его рисунков – в книгах стихов старшего сына. В чём же причина невнимания к творчеству Мастера? Вот цитата из вступительной статьи упомянутой книги, которую написала дочь художника, Жозефина. Пастернак: «...несколько моих вводных строк должны, как тот лоцман-пигмей, вывести огромный глубоководный материал записей из гавани-стоянки, в которой они дремали несколько десятилетий». Возможно, это и есть

ответ на поставленный вопрос. А может быть из-за многолетней вынужденной эмиграции...

Кратко остановимся на основных моментах биографии и творческого пути художника.

Леонид Осипович Пастернак (подлинное имя его, по одним данным, Ицхок, по другим – Аврахам - Лейб), родился в 1862 году в Одессе, в еврейской семье среднего достатка. Первые навыки в рисовании он получил в Одесской рисовальной школе, где проучился три года, затем с 1883 по 1886 г. г. – в Мюнхенской королевской академии, окончил натурный класс. Параллельно получил диплом юридического факультета Новороссийского университета. Приехав в Москву, он в 1889 году женился на молодой, но уже известной пианистке, ученице А.Н. Скрябина, Розалии Кауфман. Она почти прекратила успешную концертную деятельность и полностью посвятила себя мужу и родившемуся в 1890 году сыну Борису. В начале своей самостоятельной работы Пастернак примкнул к художникам-передвижникам и уже его первое большое полотно «Вести с родины» было приобретено для Третьяковской галереи. Затем последовал целый ряд портретов, пейзажей и акварелей, которые привлекли внимание организаторов выставок общества «Мир искусства». Пастернака пригласили участвовать в этих выставках, что само по себе уже явилось признанием Мастера. Таким образом, работы его стали известны в европейских выставочных салонах. Некоторые из них приобрели музеи и коллекционеры.

Немаловажную роль сыграло знакомство и общение с Л.Н.Толстым и его семьёй, частые поездки в Ясную Поляну. В первое время он находился под влиянием идей писателя, участвовал в его дискуссиях. В тот период художник выполнил несколько портретов писателя, его супруги и яснополянского быта. Работы Пастернака очень нравились Толстому, и он предложил художнику иллюстрировать свой роман «Воскресение». Было выполнено много полосных иллюстраций, заставок, фронтисписов и других книжных украшений. Роман выдержал много изданий именно с иллюстрациями Пастернака. Тогда же пришло увлечение техникой литографии, которое продолжалось всю жизнь.

В 1891 г. к 50-летию со дня смерти М.Ю.Лермонтова было решено издать его полное собрание сочинений. Для этой работы пригласили лучших художников России. Среди них был и Пастернак. Он выполнил иллюстрации к поэме «Мцыри», которые публиковались десятки раз во многих книгах поэта. В 1905 году Пастернака избирают ака-

демиком Санкт-Петербургской Академии художеств, что явилось исключением для человека еврейской национальности.

С тех пор художника приглашали многие издатели. Его работы экспонировались на всех, без исключения, выставках, он был одним из учредителей «Союза русских художников», объединившего почти всех мастеров разных жанров и направлений и позволивших им проявить свою творческую индивидуальность. Этот «Союз» просуществовал до 20-х годов.

В 1921-м году Пастернак с женой и двумя дочерьми, Жозефиной и Лидией (сыновья – Борис и Александр остались в Москве) эмигрировал в Берлин. Здесь, к тому времени, обосновалось большое поселение деятелей русской культуры, недовольных закрепившимся строем большевиков. Тогда, впервые появился и вошёл в обиход термин – «Русский Берлин». Даже один из крупных районов города – Шарлоттенбург, стали называть в народе – Шарлоттенград. В кафе, на частных квартирах, в театрах собирались русские эмигранты, показывали свои работы, дискутировали о положении в России, читали новые произведения. Пастернак познакомился деятелями еврейской культуры, многие из них стали его моделями. Он выполнил портреты Х.-Н. Бялика, С.Черниковского, С. Ан-ского, Д. Фришмана, З. Шнеура, М. Гершензона, И. Гофмана, Исаака Бродского, М. Гнесина, Л. Шестова (Шварцмана) и других. Позднее, в 1923 году эти и другие портреты вошли в альбом Пастернака, выпущенный Берлинским отделением Иерусалимского издательства «Явне» с предисловием Германа Штрука. В нём, в частности, подчёркивалось то, что художник возвращается к своим еврейским корням. И ещё «... он владеет искусством рисунка как очень немногие из современных европейских художников...».

В одной из своих статей Пастернак писал: «Почему мы называем портретом изображение портретируемого, а не фантазией или, скажем, «представлением»?.. Что касается сходства, то для многих это не важно, для этого, мол, существует фотография. Наблюдательность, способность остро видеть и запоминать – вот основные требования искусства портретирования». И художник свято придерживался этого своего канона. Каждый его портрет индивидуален, подчёркивает характер изображённого и в то же время, в нём присутствует чёткий почерк художника, узнаваемый внимательным зрителем. Добавим, что Пастернак утверждал: « портрет, – это небольшое пятнышко, – обширнее горизонта и глубже океана...»

Здесь следует упомянуть слова английского искусствоведа Макса

Осборна: «С неменьшим мастерством Пастернак изображает женщин... Красота живописных объектов предъявляет иные требования, и художник ничем не стеснён, используя богатство своей палитры».

В том же 1923 году в Берлине опубликовано его эссе «Рембрандт и еврейство в его творчестве», которое было данью Пастернака великому голландцу, его восприятие мастера и влияние его творческих приёмов и находок на всё последующее европейское искусство.

В 1924 году Пастернак участвовал в художественной экспедиции в Палестину и Египет. Результатом явились множество зарисовок и живописных этюдов. Они позднее стали немаловажным подспорьем для создания новых картин и графических циклов. Там же он создал несколько больших полотен: «Палестинский ландшафт». Цикл «Палестина», проиллюстрировал сборник еврейских детских песен И. Энгеля «Ширей неладим».

После смерти жены, в 1932 году, Пастернак продолжал жить в Берлине вплоть до августа 1939 года, когда разгул нацизма проявил себя в международном масштабе.

Затем Пастернак переехал к дочерям в пригород Лондона – Оксфорд, работая там безвыездно до самой смерти, последовавшей в 1945 году. Он оставил огромное творческое и литературное наследие, которое, хочется верить, со временем будет опубликовано, потому что фрагменты его статей не в полной мере дают представление о его взглядах на мировое искусство. Не только Леонид Пастернак, но и его сыновья и дочери являются гордостью как русско-еврейской, так и мировой культуры.

На обложке работы Леонида Пастернака.

Портреты Л. Шестова, С Черниховского, А. Эйштейна, автопортрет

Л. Пастернака, Х.-Н. Бялика, С. Ан-ского, Ис. Бродского,

На тыльной стороне обложки литография «Музыканты».

МАРЛЕН ГЛИНКИН

ПАМЯТИ «БЛИЗНЕЦОВ»

Я вновь в Нью-Йорке, признанной столице Мира. Стою на смотровой площадке здания Всемирного Финансового Центра. Подо мной, за пуленепробиваемым стеклом, площадь Всемирного Торгового Центра, в середине которого прежде стояли величественные небоскрёбы-близнецы.

Обнажённые их фундаменты блестят на солнце своей бетонной поверхностью. Тот скорбный сентябрьский день 2001 года навсегда запечатлён в памяти всего человечества своими трагическими событиями. Издавна повелось, что люди сами уничтожают свои творения.

Герострат поднял руку на храм Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света, – сжёг его, обессмертив этим своё имя. И вот уже 2363 года оно звучит нарицательно, как пример злобного тщеславия. Войны разрушали великие шедевры зодчества. Парфенон погиб при осаде Афин от взрыва порохового склада. И лишь дождь, подмочивший запалы, помешал выполнить приказ Наполеона о взрыве московского Кремля.

И вот этот беспрецедентный случай: на глазах миллионов людей, в ясный солнечный день, рухнули два гигантских сооружения.

Сегодня на месте их строительная площадка, подготовленная к новому взлёту архитектурной мысли. Сквозь дымку мартовского утра мне привиделись силуэты «Близнецов» и я, словно наяву, услышал их доверительный шепот:

– Помнишь, как наш отец-создатель Минору Ямасаки, – произнёс голос «старшей» из башен, – в далёком 1962 году, стоя у макета Манхеттена и осмысливая наше рождение, предлагал разные варианты

своего проекта. Он уже тогда понимал, что нас должно быть непременно двое. Высота каждой – 110 этажей! Выше всех в мире!

– Мы были предельно простые по форме и квадратные в плане, – заметила вторая башня, – были символом Нью-Йорка, словно своими, строго подчёркнутыми вертикалями, «держали» город. Ты ведь старше меня на семь лет и выше на шесть футов, но мы одновременно открыли двери Всемирного Торгового Центра, 4 апреля 1973 года.

– Это было прекрасно! – отметила «старшая», – помнишь староро ворчуна, Эмпаер Стейт Бильдинг, униженного нашим возвышением, и его брюзжание: «Бесцельная гигантомания, слишком просты и грубоваты формы, скучны фасады и, вообще, ничего в них нет»... Но мы взметнулись над городом, торжественно и надменно, подчеркнув перед миром его величие и значение. Наш создатель оказался прав. Он вселил в нас душу и энергию. Хвала ему!

– Мы гордились своей высотой, – перебила «младшая», – напоминали критикам об Эйфелевой башне, сперва не принятой парижанами, ведь их «академики» даже подписали письмо протеста, в котором называли башню «уродцем», который бросает «чернильную» тень на площадь. Теперь Париж без Эйфелевой башни немыслим...

Я словно бы проснулся после этих слов и подумал: они стояли 28 лет, были всегда молоды и прочны, могли бы стоять ещё столетия. Миллионы людей поднимались на их вершину, любовались панорамой города. Тот день, 11 сентября начался обычно. Люди спешили занять свои рабочие места. 104 лифта каждой башни взмывали вверх всего за 98 секунд, открывая человеческому взору прекрасное голубое небо.

Я вновь услышал голоса башен:

– Смотри, самолёт! – глядя на север, произнесла «старшая», – Господи, он приближается!

И в то же мгновение мощный взрыв потряс её. Огненные языки взметнулись вверх, поражая безумием и скоростью, струи расплавленного металла ручьями потекли вниз, увлекая за собой разорванные этажи и человеческие жизни.

«Младшей» как-будто передалась сила неожиданного удара по телу «старшей». Она слегка покачнулась, но её мощный каркас выдержал.

Она увидела, как десятки людей выбрасывались из окон и камнем летели вниз. И тут же появился второй самолёт. Он стремительно несся с юга и, ударив «младшую», прошил её насквозь.

– Сестра! – вскричала «младшая». – Какая боль, обжигающая и невыносимая.

Её стальной каркас начал плавиться вместе с находившимися внутри людьми... Башни рухнули. Сперва «младшая» – южная, за ней, «старшая» – северная.. Они, как бы сложились вовнутрь себя, спасая от разрушения соседние небоскрёбы.

Это видел весь мир. Гигантское облако пыли, взорвавшее узкие улицы нижнего Манхеттена, и толпы бегущих людей. И это тоже видели все. Сама мысль о тысячах погибших потрясла всю планету.

Сколько их? Каждый день проводился пересчёт до одного. К концу 2001 года их было 4764!

Какова причина падения башен? Никому в голову не приходило обвинять конструкторов и архитекторов или создателей «боингов». В чём их вина? Здания были рассчитаны на полную нагрузку, на усилия ветра и даже на удар Боинга-707.

Но главное в другом. Никому ещё не удалось вывести формулу расчёта сооружений на сопротивление людской подлости.

Нет от неё конструкторской защиты. Людские жизни невосстановимы. Здания можно вернуть к жизни. Так случилось не однажды. Варшава подняла из руин Старо Место. Венеция восстановила упавшую в начале XX века Кампаниллу. Москва отстроила снесённый большевиками Храм Христа Спасителя. Первый раз его возводили 40 лет, второй – только шесть. Даже Хиросима и Нагасаки восстали из атомного пепла.

«Свято место не бывает пусто». Что строить? Башни или монумент? Или то и другое. Говорят, будто владелец «близнецов» намерен поставить там четыре башни по 50 этажей. Многие предполагают, что будет возведена башня в 600 с лишним метров. О чём говорить? А если бы погибла Эйфелева башня? Смогли бы её заменить на две поменьше? В полвысоты, как в Лас-Вегасе?

И ещё. Пусто не только место. Пуст горизонт Нью-Йорка. Можно построить что-то новое. Даже высокое. Но это будет уже другой Нью-Йорк. И не надо бояться высоты. Люди будут летать, строить небоскрёбы и воевать, увы, тоже будут...

Можно отыскать и осудить всем миром Осаму бен Ладена. Хочется верить, что великая Америка покончит с терроризмом. Но если не восстановят «близнецов», торжество будет не полным. Конечно, там должен быть мемориал.

Мои мысли прервали судорожные всхлипывания. Плакала пожилая дама: «Господи, когда же Ты станешь милосердным?! – по-русски произнесла она, – в чём вина моего сына?»

Оказалось, что её сын, гений-программист, работал в северной башне. В тот роковой день он не вышел на работу. Это был первый день его отпуска. Он летел в первом самолёте к своей невесте и сгорел вместе со всеми, когда самолёт протаранил офис его фирмы.

Я смотрю на осиротевшую площадь бывшего Всемирного Торгового Центра. Представляю себе, как «близнецы» вписывались в силуэт Нью-Йорка, как гордые их вертикали напоминали поднятые вверх два пальца, сложенные в латинскую «V», – символизирующую «VICTORI» – ПОБЕДУ.

КАРЛ АБРАГАМ

НА СЛУЖБЕ У ДЪЯВОЛА

(судьба полукровок)

Часть первая

Фронтальная байка Э. Савелы (1) о поимке немецкого «языка», оказавшегося евреем, воспринимается как анекдот. Исповедь еврея Самуила Переля (2), состоявшего в гитлерюгенд заставляет задуматься: возможно ли, чтобы в гитлеровской армии служили евреи или рассказанная автором история – лишь исключительный случай в истории Вермахта?

Известна трагическая участь немецких евреев, ветеранов Первой Мировой войны, в гитлеровской Германии. Поэтому я не допускал мысли о возможном участии евреев во Второй мировой войне на стороне Гитлера.

И вдруг в одном из январских номеров газеты «Welt am Sonntag» за 2006 год промелькнула крохотная аннотация на «спорную» книгу Б.М. Рига «Еврейские солдаты Гитлера» (3). Прочитав заглавие, непредубеждённый читатель думает: «Что же это за евреи, столь рьяно пособничавшие фюреру в реализации его доктрины о «мировом господстве великой Германии»? А может быть они принимали участие и в геноциде еврейского народа?» Согласимся, что заглавие книги неудачное, оно носит спекулятивный, я бы даже сказал, антисемитский характер. Но вот вы перевернули последнюю страницу и оказывается, что книга Рига посвящена в основном судьбе потомков от смешанных браков в первом и во втором поколении, где одним из супругов был

еврей, и о службе этих полукровок в Вермахте.

Книга Рига – солидное исследование, основанное на документах и свидетельских показаниях участников Второй мировой войны. Автор очень деликатен в суждениях и осторожен с выводами. Даже к показаниям очевидцев он относится с известной долей скепсиса. Риг анализирует лишь то, что ему доподлинно известно. Он черпал свой материал в Федеральных архивах Ахена, Берлина и в Институте современной истории Мюнхена. Им проанализировано 1671 персональное дело лиц, служивших в Вермахте, имевших в своей родословной полностью или частично еврейские корни. С 258 он провёл 430 интервью.

* * *

Участие немецких евреев в составе германских войск имеет давнюю историю. Они сражались в Семилетней войне под началом Фридриха II, а с 1812 г. им официально было разрешено служить в прусской армии. В освободительных войнах 1813 – 1815 гг. под прусскими флагами сражалось по меньшей мере 730 лиц еврейской национальности. В франко-прусской войне 1870/71 гг. приняло участие около 12 000 евреев, наконец, в Первой мировой войне на стороне Германии воевало уже 90 тыс. немецких граждан еврейского происхождения.

По Версальскому договору Германии разрешалось держать под ружьём не более 100 тысяч солдат и офицеров. Сколько из них было евреев – неизвестно. С приходом Гитлера к власти началось вытеснение евреев из армии. 28 февраля 1934 г. было опубликовано распоряжение военного министра: *«Положения закона о восстановлении чиновничества» распространяются на офицеров, морских офицеров, унтерофицеров и на воинские команды. Еврейские солдаты от несения службы в Рейхсвере** освобождаются*. В мае 1935 г. появился «Закон о воинской службе». В нём говорилось, что *«только арийцы имеют право занимать в армии руководящие должности. Арийцы, служащие в армии, не могут вступать в брак с лицами неарийского происхождения. Лица, нарушившие этот приказ, лишаются своей должности. Деятельность лиц неарийского происхождения во время войны регулируется особыми правилами»*.

После принятия Нюрнбергских расовых законов (1935) каждый военнослужащий Вермахта должен был заполнить декларацию следующего содержания: *«На основании тщательной проверки мне не известны какие-либо факты, которые указывали бы на то, что я еврей. О том, кого считать евреем, мне разъяснено. Мне известно,*

что я буду немедленно уволен из Вермахта, если окажется, что сведения, приведенные мною выше, неверны». Заметим, что в самой формулировке этого документа «*mir ist nicht bekannt*» (мне неизвестно) сокрыта возможность лукавить: не знал, да и только...

Чтобы доказать своё «арийское» происхождение следовало предоставить свидетельство о рождении, брачное свидетельство и свидетельство о крещении бабушек и дедушек. Эсэсовцы и члены нацистской партии должны были подтвердить своё «арийское» происхождение, начиная с 1800 года, а военнослужащие из личного корпуса Гитлера, - с 1750 года. О высоких требованиях «к чистоте арийской расы» свидетельствует тот факт, что среди эсэсовцев в дальнейшем оказалось несколько человек, в жилах которых текла 1/256 часть еврейской крови. Все они были уволены из частей СС.

Расовые законы были направлены против евреев. Если хотя бы один из четырёх прародителей был евреем, то их внук объявлялся на одну четверть евреем, если два прародителя были евреями, то их внуки были «полуевреями», и, наконец, если из двух бабушек и двух дедушек трое было евреями, то их внук был уже на 75 % евреем. Кого кем считать нацисты определяли сами. К «100-процентным евреям» были причислены немцы, принявшие иудаизм, евреи, принявшие христианство, а также «полуевреи», состоящие в браке с еврейкой или евреем. Во главу угла нацисты ставили не вероисповедание, а расу, кровные отношения. Они всерьёз считали, что между немцами и евреями существуют расовые различия. Целые институты пытались по форме головы, ушей, носа, туловища и стоп обнаружить отличительные черты между «арийцами» и евреями. Бруно Шульц, шеф расового управления Праги, подчёркивал, что полуевреи наследуют 24 хромосомы еврейские и 24 «арийские». О том, каким образом можно отличить еврейские хромосомы от нееврейских, Шульц почему-то умалчал. Насколько лжива и несостоятельна с научной точки зрения была расовая теория, будет показано ниже. Детей от смешанных браков в первом и во втором поколении, где одним из супругов был евреем, нацисты называли *Mischling*; наиболее приемлемый перевод для русского уха – помесь, метис. Известный писатель, автор «Капитана из Кёпеника», Карл Цукмейер, эмигрировавший в 1939 из фашистской Германии, высказался так по этому поводу: «Определение «метис» к людям одинаковой культуры, языка и цвета кожи – совершеннейшая глупость и является изобретением обезумевших фанатиков».

Среди 1671 служащего Вермахта, персональные дела которых подверглись изучению Ригом, было 607 солдат и офицеров, оказавшихся

на одну четверть евреями, 967 – наполовину евреями и 97 – «100-процентными» евреями.

После принятия Нюрнбергских расовых законов многие немцы обнаружили в своём генеалогическом древе еврейские корни. Для многих это оказалось катастрофой. Например, вдруг оказывалось, что одна из бабушек, давно почившая в бозе, еврейка. На этом факте никто в семье внимание не заострял. Тем более, что многие немецкие евреи перешли из иудаизма в христианство, другие и вовсе были неверующими. Смешанные семьи веками жили в Германии. Они участвовали в становлении немецкого государства, сражались за её независимость, развивали её культуру.

«Полуевреи и четвертьевреи» составили подавляющее большинство в исследовании Рига. Эти люди на протяжении 12 лет подвергались дискриминации. Не удивительно, что некоторые полукровки хотели избавиться от своих еврейских корней. В 1999 году в Гамбурге вышла книга Беаты Майер «Евреи – полукровки. Расовая политика и опыт преследования 1933-1945 гг.» (4). Автор проанализировала 42 случая (только в одном Гамбурге!), в которых «полуевреи» пытались «исправить» своё происхождение. Они утверждали, что их папа, по национальности еврей, вовсе не является их биологическим отцом. В качестве отца фигурировал «чистокровный немец», скажем, дальний родственник, квартирант, коллега или непосредственный начальник. Сообщалось, что его уже нет в живых, а потому на суде он присутствовать не может. А вот что рассказывает Риг: некий Юрген Грюн воспитывался в семье, где мама была немкой, а папа наполовину евреем. В 1933 году мама умерла. Грюн пошёл в гестапо и заявил, что его настоящим отцом на самом деле является немец, друг юности мамы, павший на фронте в Первую мировую войну. Грюна освидетельствовали и установили, что он действительно «ариец». Когда он в составе немецкой армии стоял осенью сорок первого под Москвой, его пригласил к себе командир части и сообщил, что павший в Первой мировой войне солдат оказался 100 %-м евреем. Грюн, теперь уже как полуеврей, был уволен из армии.

Тысячи немецких матерей, будучи замужем за евреем, в попытке защитить своих детей оговаривали себя, заявляя под присягой, что супруг не является отцом её детей. Типичным в этом отношении является пример генерал-фельдмаршала Э. Мильха. В 1933 году мать Мильха обратилась в полицию с письменным заявлением, что отцом всех её шести детей на самом деле является не Антон Мильх, еврей по национальности, а умерший дядя, немец Карл Бройер. Мильх, заме-

тим, был весьма видной фигурой в военно-воздушных силах Третьего рейха. Мать Мильха пожертвовала не только своей репутацией, но и репутацией мужа, чтобы не ломать детям карьеру. О том, что люди лжесвидетельствовали против себя, в судебных инстанциях знали и не всегда верили заявительницам. Когда мама «полуеврея» Вольфганга Шпира обратилась в соответствующее учреждение с заявлением, что её сын и дочь Рут родились от немецкого любовника, то судья направил их на обследование в Гамбургский институт расовой биологии. После сложных антропометрических измерений и сличения фотографий брата и сестры, «учёные» пришли к выводу, что Рут «арийка», а Вольфганг «полуеврей».

У полукровок были отобраны все гражданские права. Они не могли занимать руководящие должности в учреждениях, им была закрыта дорога на определённые факультеты в университетах; несмотря на то, что большинство полукровок исповедовало христианство, появляться в церкви им было запрещено. Офицерское звание в армии можно было получить только с письменного разрешения самого фюрера. Вступление в интимные отношения с немкой рассматривалось как осквернение немецкой расы. Получивший тяжёлое ранение на фронте Вернер Эйсер был депортирован в Освенцим за то, что переспал с «арийкой». Некий эсэсовец полюбил еврейку и вступил с ней в интимную связь. Оба были казнены. Председатель еврейской общины Нюрнберга Л. Каценбергер был расстрелян только за то, что поцеловал «арийку». Доктор Ганс Зерельман был в 1935 году отправлен в концлагерь за то, что сдал кровь для спасения умирающего «арийца». Надо сказать, что нацисты были не всегда столь последовательны и щепетильны в выборе донора, особенно когда речь шла о жизни и смерти офицера высокого ранга. Для этого достаточно вспомнить опыт Еврейской больницы Берлина, где в последние дни войны лечились солдаты и офицеры Вермахта.

Полукровки были изгоями общества. От них отказывались друзья, знакомые, возлюбленные, а порою и родственники с той и другой стороны. Взаимоотношения детей с родителями в смешанных браках были непростыми. Некоторые отцы отказывались помогать своим детям-полукровкам. Так Петер Шольц, уволенный из армии, обратился к отцу за содействием помочь ему в устройстве на работу. С матерью еврейкой отец давно расстался. Сыну в помощи было отказано. Произошёл скандал: сын назвал отца трусом, т.к. тот увильнул от службы в армии в Первую мировую войну. Отец выставил сына из дома со словами: «Убирайся вон, грязный еврей!» Некоторые евреи, в основном

женщины, уговаривали своих мужей-немцев расторгнуть брак, понимая, что партнёру и её детям это будет на пользу. Власти всячески поощряли эти разводы. Оставшись без защиты, эти женщины очень скоро оказывались в концлагере.

Почему немцы с еврейскими корнями служили в Вермахте? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Тому было много причин. Это сегодня, спустя десятилетия, нам «всё ясно». А тогда, когда газовых камер и крематориев ещё и в помине не было, когда первые концлагеря только строились, люди оставались лояльны к новой власти и просто шли в армию выполнять свой гражданский долг. Начать с того, что все эти люди были призывного возраста, и уклониться от службы в армии было практически невозможно. Большинство полукровок служило (по материалам Рига 1284 из 1671) солдатами и матросами и выгод для себя не искали. Во-вторых, служба в армии до поры до времени в значительной степени защищала их семьи от преследования. В-третьих, они были патриотами Германии и доверяли правительству национал-социалистов. Сохранилось письмо «полуеврея», унтерофицера Дитера Бергмана к своей бабушке, которая, узнав, что он служит в армии, обозвала его «нацистом». Вот что он пишет: *«Ты даже не представляешь себе сколь прочно я связан с Германией. Моя жизнь была бы неполноценной без моей родины, без прекрасного немецкого искусства, без веры в прошлое и будущее немецкой истории. Ты думаешь, я могу всё это вырвать из своего сердца? И разве у меня нет обязанностей перед родителями, наконец, перед братом, который как герой погиб на поле брани во имя нашей любимой родины?»* Бергман надеялся, что его служба в армии докажет в конце концов его приверженность немецкой нации: *«И я хочу однажды оказаться немцем среди немцев, а не гражданином второго сорта, только лишь потому, что моя дорогая мама еврейка».* Тётушка Бергмана по отцовской линии, член нацистской партии, относилась несколько иначе к своему племяннику: *«Мой дорогой мальчик, мне кажется, что такие люди как ты, должны быть уничтожены, если наше отечество желает очиститься и быть успешным в борьбе с марксистско-еврейским заговором. Сожалею, мой дорогой мальчик, ты же знаешь, как я тебя люблю».*

Полукровки не хотели отставать от «чистокровных арийцев», напротив, они старались во всём, особенно в спорте, быть лучше немцев. Они и на фронте лучше воевали, чтобы не говорили, что они трусливы. О человеке, стремящемся на фронт, никак не скажешь, что он спасает свою шкуру. Каждый десятый военнотрудовой из 1671, упомянутых Ригом, сложил голову на поле боя, 282 были награждены

орденами различного достоинства, в том числе 18 человек получили Рыцарский Крест – высшую награду Третьего рейха. Среди кавалеров рыцарского Креста капитан Зигфрид Зимш, сбивший 95 самолётов противника, полковник Вальтер Голлендер, полк которого в июле сорок третьего южнее Орла только за один день подбил 21 танк противника, адмирал Бернхард Рогге, потопивший в ходе военных действий 24 вражеских судна, и т.д.

Служба полукровок в Вермахте защищала в определённой степени их родственников-евреев от депортации. Для расправы с ними у нацистов были связаны руки. Гитлер решил поэтому освободиться от полукровок. 8 апреля 1940 года, когда пожар Второй мировой войны уже пылал на европейском континенте, под грифом «совершенно секретно» вышел приказ, подписанный Кейтелем, в котором предлагалось всех «полуевреев», а также немцев, женатых на еврейках или «полуеврейках», из армии уволить. Командиры на местах не слишком торопились с выполнением этого приказа. Во-первых, им жалко было расставаться с хорошо обученными солдатами, во-вторых, шла война, и военачальникам было не досуг заниматься изучением генеалогического древа своих подчинённых. И тем не менее, в 1940 году из армии было уволено 70 000 полукровок. Уволены были те, кто не скрыл своего происхождения. Многим из них предложили обратиться к фюреру с прошением остаться на службе. Для этого следовало проявить на поле боя исключительную храбрость, иметь награды и определённые заслуги в борьбе с врагом. Иногда вопрос решался в пользу заявителя. Одни солдаты радовались увольнению, другие огорчались. Например, младший врач полка Р. Браун рассказывал впоследствии: «Я был счастлив не служить больше этому идиоту». Но большая часть уволенных чувствовала себя ущемлёнными. Находясь на действительной службе, они, как правило, не испытывали никакой неприязни со стороны сослуживцев. В январе 1942 г. состоялась недоброй памяти Ванзейская конференция, посвящённая «окончательному решению еврейского вопроса». Если судьба евреев на этом сборище нацистов была предreshена, то вопрос о полукровках остался открытым. Одни высказывались за то, чтобы приравнять «полуевреев» к 100 % евреям, другие предлагали подвергнуть полукровок – а их было около 70 000 – стерилизации. Вопрос этот так и не был решён. Фюрер высказался в том смысле, что займётся неполными евреями после войны.

Нам предстоит ответить ещё на целый ряд вопросов. Например, что знали немцы с еврейскими корнями – военнослужащие Вермахта о Холокосте, принимали ли они участие в геноциде еврейского наро-

да? Почему Гитлер объявлял того или иного полукровку «чистокровным немцем»? Насколько прозрачным было происхождение самих руководителей Третьего рейха? Об этом и о дальнейшей судьбе полукровок мы расскажем в следующий раз.

**В соответствии с законом от 07. 04. 33 чиновники неарийского происхождения подлежат увольнению.*

***Вооружённые силы Германии до 1935 г. назывались Рейхсвером, после – Вермахтом.*

Литература: 1. Э. Севела, Моня Цацкес – знаменосец, СПб, Кристалл, 2001, 157 стр.

2. Sally Perel, Ich war Hitlerjunge Salomon, Wilhelm Heyne Verlag, München, 2001, 208 S.

3. Bryan Mark Rigg, Hitlers Jüdische Soldaten, Verlag Ferdinand Schöningh Paderborn, 2006, 439 S.

4. Beate Meyer, "Judische Mischlinge" - Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933-1945 Hamburg, 1999, 114 S.

ОЛЬГА БУТЕНКО

«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»

Я как-то не задумывалась над тем, что такое слово. По крайней мере, до тех пор, пока оно мне служило верой и правдой. То есть, пока я его не лишилась. Только тогда я и поняла, чем был для меня язык. И не только для меня. Что такое, вообще, язык в нашей жизни.

В толковых словарях разных стран слово, речь, язык определены, как средство выражения мысли. Её устная форма. Способ обмена ими. И только?

Мы с сыном оставили Россию в тяжёлые брежневские времена. Волею судеб и благодаря элементарному знанию французского языка, мы оказались в городе Квебеке – столице одноимённой франкоязычной провинции Канады.

Долгожданная свобода стала нашим достоянием. Главным, и, пожалуй, единственным. Так как на приобретение прочего средств не хватало. А доступ к духовным богатствам свободного мира оказался не бесплатным.

Однако кое-что даже мы могли себе позволить. Например, кино. Какие только фильмы я не пересмотрела в знаменитом кинотеатре Картье, где шли подборки фильмов то Феллини, то Антониони, то Бергмана. Всё, что демонстрировалось в Москве лишь на закрытых просмотрах и даже без цензурных купюр, стало доступным. С тем лишь отличием, что здесь эти фильмы не были дублированы на русский язык или соответственно субтитрованы...

Тут-то впервые я почувствовала, что язык – не только способ выражения и обмена мыслями. Недостаточность его знания лишала гораздо большего, чем тонкости понимания сюжета и нюансов речи. В Москве, выходя из кинотеатра в толпе зрителей, мне и оборачиваться не нужно было, чтобы по обрывкам фраз за спиной составить себе представление о говорящих. Что было за сказанной вслух фразой. Знать

примерно, уровень образования, социальную и профессиональную принадлежности, уровень интеллекта. Являются ли они читателями толстых журналов, таких как «Иностранная литература» или «Наука и жизнь». Представить себе, что они думают о различных событиях в мире и стране. Могла и ошибаться, конечно. Но эта оценка выполнялась автоматически, и я не отдавала себе в том отчёта, пока не оказалась среди людей, о которых ничего не в силах была узнать по их фразам, улыбкам, взглядам...

По одежде встречают, по уму провожают. Так было всегда, до сих пор. Но здесь, ни по одежде, ни по мыслям, высказанным вслух, мне не удавалось составить представления о людях, меня окружавших. Приходилось прибегать к иным способам познания – интуитивным, как у детей. Впрочем, иногда эта оценка оказывалась даже более полной и верной, но всё-таки чаще – оставляла меня за гранью понимания этих людей.

Шли годы, жизнь продолжала своё одностороннее движение, совершенствуя мой язык и представление о его месте в нашей жизни. Режим пал. Перестройка дала возможность возврата к прошлому, хотя на том месте, где мы его оставили, его уже было не найти. Мне, однако, удалось разыскать подругу детства – соседку по коммунальной квартире, где мы с ней обе родились в один и тот же год и выросли. Жизнь развела нас в стороны задолго до моего отъезда из России: мы уже давно жили в разных кварталах Москвы, я стала инженером, она преподавала русский язык иностранным студентам в Университете Лумумбы. Однако не забывала и французского – нашей детской страстности, – используя его в своей работе.

Мы разговорились о трудностях перевода. Вернее, о его неизбежной неточности по отношению к оригиналу. Например, как перевести на французский язык название повести Достоевского «Кроткая»? Она привела несколько синонимов, жалуясь, что ни одному из них не охватить полного значения русского слова. Я тоже не могла подобрать ни одного французского термина, что полностью бы ответил русскому. В этом не было ничего удивительного. Оно было в другом: предложенные мною термины ни разу не совпали с её переводом этого слова. Для неё «кроткая» была *douce*, *gentille*, *gracieuse*, *aimable*, *mignon*¹. Я же определила «кроткую» как: *douceur*, *humble*, *soumise*².

Следовательно, мы с нею одно и то же слово, знакомое нам с дет-

¹ Мягкая, добрая, ласковая, приятная, миленькая и проч.

² Безропотная, покорная, смиренная, послушная.

ства, понимали по-разному. Более того, не начни мы подбирать ему французского эквивалента, мы бы никогда не узнали об этом! И ведь это слово должно быть не единственным!

Интересно, как Достоевский сам объяснил бы значение слова «кроткая»? Ответ, конечно, в самой повести. Значит и Достоевского мы с ней воспринимали по-разному! Кто же из нас прав? Кто нас рас судит?

Для неё это слово воплощало достоинства, тогда как во мне всё называемое им вызывало протест. Она признавала покорность добродетелью, я же уехала, всё бросив, из нежелания смириться с действительностью.

А ведь нам казалось, что и теперь, после столь долгой разлуки, мы сходимся очень во многом, чуть ли не во всём. Но углубись мы с нею в дебри перевода, возможно различий в понимании терминов выявилось бы гораздо больше. Так не от того ли происходят ссоры и разводы, драки и может быть и войны и люди по разному толкуют одно и тоже слово, не отдавая себе в том отчёта и не стараясь понять друг друга?

Возможно, причина нашего расхождения в понимании слова «кроткая» крылась в воспитании, полученном в семьях. Дед моей подруги был священником. Внучка не успела его узнать, с ним расправились до её рождения. Однако мать её, дочь священника, была воспитана им, конечно, в духе религиозной морали. И хотя взрослой девушкой, она, как и все вокруг, стала комсомолкой и декларировала себя в многочисленных анкетах неверующей, своей дочери она передала понятие духовных ценностей, основанных на православной вере. Отсюда, возможно, и шло толкование слова «кроткая», как добродетели.

Я же в такой мере полагала себя неверующей, что и не стремилась к постижению учения. Первая Библия попала мне в руки уже в Канаде. Она была вручена мне нашим депутатом во время церемонии предоставления нам канадского гражданства. Тогда я впервые начала знакомиться с содержанием книги, самой читаемой во всём мире. В Евангелии от Иоанна я прочитала: «Вначале было слово, ... и слово было Бог». Это меня озадачило.

В то время я преподавала русский язык в колледже Сент-Фуа в Квебеке. Мои восемнадцатилетние студенты записывались на мой курс из любопытства к незнакомому языку, заинтригованные уже самим алфавитом.

У меня был всего один курс. Чему можно успеть научить 28 любопытствующих за три часа занятий в неделю в течение одного триме-

стра? И всё-таки я успевала за это время дойти до спряжения глагола.

Невозможно представить себе что-либо грамматически более чуждое западным языкам, чем русский глагол с его совпадением окончаний в будущем и настоящем: напр., я пишу, и я напишу. Из этого следует, что на каждый французский глагол приходилось два русских (совершенного и несовершенного вида). Это моим бедным студентам давалось с трудом, не говоря уже о глаголах движения, которых на один французский глагол приходится четыре!

Пользуясь тем, что я русская, и потому могу позволить себе странности, я иногда отвлекалась от грамматики и рассказывала им истории, порой парадоксальные, которые они слушали с увлечением. Этим мне удавалось удерживать их внимание в течение всего урока.

Дойдя до глагола, дабы подчеркнуть значимость его, я заявила:

– Глагол – самая важная часть речи. В старом французском, как и в старом русском «глагол» обозначал не только действие, но был синонимом «слова». Ещё Пушкин писал о долге поэта: «глаголом жечь сердца людей», подразумевая под «глаголом» «слово». В Евангелии от Иоанна говорится, что «вначале было слово», и в старинных изданиях часто вместо «слово» можно встретить «глагол». Но вот, чего я не понимаю: как слово могло появиться прежде предмета или действия называемого им?

После этого вступления глаза всего класса устремились на меня. Учитель русского языка, неведомо какой веры, скорее всего не католик, вдруг касается святыни, о которой в праве толковать лишь священники и теологи. Да ещё в таком еретическом аспекте. Класс застыл, не зная, что за тем последует, как свора на цепи.

– Я долго думала, что бы это означало. И, кажется, нашла.

Нужно было видеть, как они смотрели. Я думаю, что такой концентрации внимания позавидовал бы любой педагог. Я развивала свою мысль: «Посмотрите сами. Прежде, чем построить здание, нужно разработать проект. Работа над проектом длится дольше, чем само строительство. Следует всё продумать, рассчитать и воплотить в чертежи: фундамент, несущие конструкции, перекрытия, электросеть, канализацию, окна, двери, проёмы, лестничные клетки и прочее. Бог же сотворил мир за шесть дней, на седьмой отдыхал. Даже если символический день принять за тысячелетия, всё равно сотворить мир, в котором всё так гармонично взаимосвязано, за этот срок невозможно.

Возьмите для примера закон Гей Люсака-Шарля. Он устанавливает пропорциональную зависимость между тремя параметра газа: объ-

ёмом, давлением и температурой. Невозможно изменить один из них, чтобы это не повлияло на один или оба остальные. А ведь это всего лишь газ и всего лишь три параметра, не вселенная.

Более того. Вы знаете, что все тела при нагревании расширяются, то есть плотность их уменьшается. Значит, при нуле плотность всех материальных субстанций должна быть выше, чем при плюсовой температуре. Всех, кроме воды. Вода достигает максимальной плотности не при нуле, а при плюс четырёх градусах Цельсия. Таким образом, вода на дне водоёма оказывается теплее, той, что на поверхности. Случайность? Но благодаря ей, ни один водоём не промерзает до дна. Лёд образуется на его поверхности, что обеспечивает жизнь не только рыбам, но и всему на земле. Нужно было и это продумать заранее.

Значит, прежде, чем приступить к сотворению мира, у Бога должен был быть Проект. Но как его составить, если ещё нет ни ватмана, ни карандаша, ни бумаги? И Бог задумал этот мир словами. Он задумал любовь и ненависть, добро и злобу, эгоизм и щедрость, верность и измену, жестокость и милосердие, счастье и боль.

Мы рождаемся и приходим в мир, в котором всё это уже существует. Сначала мы учимся произносить слова, потом начинаем проникать в их значение. Это работа всей нашей жизни. В младенчестве мы любим свою мать, своего ту-ту, котёнка, щенка. Потом пошли в школу и влюбились в соседа по парте, в девочку во дворе. Мы растём, и любовь меняет свои формы. Мы любим друга, подругу. Потом появятся дети, и мы узнаем совсем иную любовь, а через неё – радость и горе.

Боль обиды научит нас прощать. Боль собственных потерь и неудач научит чувствовать чужую боль. Непонимание научит нас ценить счастье разделённой любви. Любовь научит нас отличать настоящее богатство от внешнего блеска, научит отдавать, ничего не требуя взамен. Через любовь мы узнаём, что такое жертва и долг.

Представьте себе, что всё это нужно испытать на себе лишь для того, чтобы постичь значение глагола «любить», который уже существовал в этом мире до нашего появления в нём. Глагола, который включал в себя всё это со дня его сотворения.

Быть может, и весь смысл нашего земного существования сводится к проникновению в суть значения слов? Тогда овладев одним из иностранных языков, мы приблизимся к другому народу, сумеем понять не только диалоги и мысли, но и его идеалы и стремления, смысл поступков, разделить с ними родственные нам чувства, несмотря на различие форм их проявления? Но прежде, чем это случится, мы должны овладеть их языком.

Поэтому теперь мы перейдём к спряжению русского глагола, чтобы, оказавшись однажды в России, не сплеховать».

После чего мы вернулись к изучению тех слов, которые не нами были придуманы, и для правильного употребления которых нам необходимо было знание правил грамматики.

На следующее занятие одна из моих студенток привела свою подружку.

– Она не знает русского, но можно, она посидит с нами и послушает?

Фамилии и имена я запоминаю плохо. Даже в лицо не всегда узнаю своих учеников. Однажды весенним солнечным днём я зашла с приятельницей в кафе «Ля Трибюн» на площади Д'Ювиль. Оно было заполнено. Стоя в зале, мы высматривали свободный столик, как вдруг из-за одного из них ко мне обратился молодой мужчина:

– Вы ещё преподаёте русский?

?

– Вы меня не помните? Я был вашим студентом.

Он поднялся и оказался ростом выше меня (мой рост 1м 85см). Чем он теперь занимается? Стал журналистом. Только что вернулся из Лондона.

– Вы что-нибудь ещё помните по-русски?

– Нет, честно говоря, ничего не помню. Но ведь вы учили нас не только русскому? Спасибо вам за это.

Я не помнила моего бывшего студента мальчиком, внимание которого старалась удерживать рассказами, иногда парадоксальными. Он остался в моей памяти человеком, впитавшим смысл слов, сказанных когда-то мною в чужой стране на неродном мне языке.

АЛЕСЬ ЭРОТИЧ

«МАСТЕР МАГАРИТА»

Мы познакомились с ней случайно. Создателю было угодно, чтобы наши траектории пересеклись. Произошло это в Ораниенбурге, где мы выступали перед немцами, среди которых были участники войны. С немецкой стороны, разумеется. Привёз нас туда Бернардт. Мы читали о войне, естественно была дискуссия. Естественно были страсти, особенно о Кенигсберге, конец которой положил Бернардт, сказав, что Кенигсберг и не был немецким городом, а немцы просто отобрали его у пруссов... Его спросили, действительно ли он сам немец, и, получив утвердительный ответ, успокоились. А мы отметили это у Марго дома. И с тех пор стали видеться часто.

Что могло у меня быть общего с женщиной по фамилии Их, по возрасту годящейся мне в матери? Это и было общим. Видимо, так уж устроен мир. Она напоминала мне мать. Но оказалось, не только мне. Ещё одним её сыном был Бернардт.

Этот немолодой уже мужчина, производящий впечатление человека с тяжёлой контузией в голову, в глазах которого жили озорные чёртики, практически поселился у неё в квартире. Вместе со своими котятами.

Странная это была дружба.

Они сидят, смотрят телевизор. Там белые медведи из России зашли на Аляску.

– Повстанцы освобождают Америку от капиталистов-«янки» – комментирует Бернардт. Кошка принесла пойманного воробья.

– Патриоты ловят американских парашютистов-десантников!

Кино о югославском лидере Тито.

– Это изменник, который продался англичанам, продал товарища Сталина, и тем самым, помог задушить греческую революцию 50-х годов!

А перед этим мы слушали лекцию о бандитах Корнилове и Деникине. Больше всего на свете Бернардт любит слушать советские военные

марши и читать письма Сталина рабочим... Его русский безупречен. Раньше он был гедезровским шпионом. Но попался. В тюрьмах ФРГ было как на курорте. Но только не шпионам ГДР. Там им отшибали мозги, пичкая медикаментами. Видимо, Бернардт один из них. Но он самостоятельно ходит в магазин, покупает продукты для Маргариты, пишет письма за неё в разные «амты», готовит, стирает, моет её. Ради одного носового платка он включает на целый час стиральную машину. Вот он приготовил ей ужин. Но когда Маргарита ест сначала картофель, а не овощи, отбирает его, называя её дурой. Она в ответ: – Из-за вас, фашистов, я на войне потеряла здоровье... Он не ответил.

Ругались они часто.

Но перед уходом, она каждый раз целовала ему руку.. Она была смелая, бесшабашная, почти клинический случай. На своё 80-летие сказала, что у неё было четверо мужей и девять любовников.

Нашей общей страстью был Фломаркт. Как она умела торговаться! Это было целое искусство... Мы знали всё о берлинских фломарктах, и я приносил её любимые бронзовые колокольчики, когда она уже не могла сама ходить. А как мы горевали, когда закрылся «наш» Фломаркт на Морицплац!

У неё было только два возраста – детство и старость. Во всяком случае, это проистекает из её рассказов и книг. И радость жизни в этих возрастах никогда не утрачивала для неё свой удельный вес. Она словно смотрела видеофильм о прошедшей жизни с годами, повернутыми вовнутрь. Была Мастером литературы, дружбы, любви, общения, маленьких радостей... Умела дистанцироваться от проблем, конфликтов, физической боли...

Писатель может быть каким угодно в жизни, может быть даже сложным, нелицеприятным человеком. Главное это то, что он напишет, что останется. В этом его подлинное лицо.

Я часто перечитываю её простые, бесхитростные рассказы и вижу маленьких девочек с незамутнёнными глазами, красивые немецкие деревушки...

Огромный город, крадущий души, увёл тебя в мир абстрактных теней и Manteuffelstrasse превратилась для меня в лайковую перчатку, из которой вынули руку..

ДАВИД ЯНОВСКИЙ
(с немецкого)

Из цикла «Моё еврейство»

ГЮНТЕР АНДЕРС

Гюнтер Андерс (Штерн), философ, писатель, журналист. Род. в еврейской семье в 1902 г. в Бреслау, в семье психологов. Окончил философский факультет во Фрайбургском университете. В 1938 г. эмигрировал во Францию, в 1936 г. – переехал в США, где не мог найти работу из-за левых взглядов. Боролся против применения атомного оружия. В 1950 г. вернулся в Европу, в Вену. Работал переводчиком, писал статьи о философии искусства (о творчестве Кафки, Рембрандта, Шуберта и др.). Умер в 1992 году.

Прежде, чем я начну, хочу устранить возможное недоразумение. Многие из тех, кто знает о моей борьбе против фашизма, атомной угрозы и войны во Вьетнаме, будут удивлены, узнав, что я еврей. Ведь моя фамилия звучит по-скандинавски. Но это только псевдоним, который я придумал много десятилетий назад, совершенно не думая об «аризации» своей фамилии. Родился я с хорошей еврейской фамилией Штерн. И как таковой, с открытым забралом, хочу предстать перед вами.

Но прежде, чем писать о еврействе этого Гюнтера Штерна, – одно замечание о нашем времени. Мне кажется, что сейчас, с одной стороны, желание отмежеваться от нацистского прошлого, которое более или менее честно (скорее менее чем более) возникло после 1945 года, превратилось в ностальгию, и для многих время массовых убийств стало «добрым старым временем». С другой стороны, слепая ненависть, жертвой которой стали миллионы людей, проявляется снова. Я говорю «снова», так как речь идёт не о постаревших антисемитах про-

шлого, а о молодых людях, большинство из которых ни разу не встречались лицом к лицу с евреем. Поэтому эта ненависть ещё страшнее, чем слепая ненависть их отцов и дедов. Как известно, недавно в Ганновере были осквернены и разрушены еврейские надгробия. Этот вандализм доказывает, что мы, евреи, даже мёртвые, для некоторых наших современников, как кость в горле.

Как случайно выживший еврей, который случайно имеет возможность говорить от лица миллионов убитых, я чувствую себя обязанным обратиться к сыновьям и внукам убийц. Не ради нас (о нас, немногих выживших, можно и не думать), ради вас самих вы должны уничтожить все зародыши рецидива того, что произошло. Чтобы вы не повторили путь своих отцов и дедов: не стали сотрудниками лагерей уничтожения, а потом не прожили остаток своей жизни, как бывшие палачи. Такая жизнь не только позорна, но и несчастна. В немецком языке оба эти значения объединяет очень точное слово «*unselig*» (злосчастный).

Так. Теперь о моём еврействе.

Если вы меня спрашиваете, когда я впервые почувствовал себя евреем, я расскажу такой случай:

Однажды, когда нам было около 8 лет, значит примерно в 1910 году, я спросил своего друга, протестанта: «Во что ты, собственно, веришь?» и он мне ответил по-детски: «В то, что мы спасены!»

Так как мне это слово в таком значении было непонятно (впрочем, как и сейчас, 70 лет спустя), я переспросил: «Спасены от чего? От голода? Так от него и я спасён». И он ответил мне высокомерно, как человек, обладающий монополией: «Кто говорит о голоде? Естественно, мы спасены от грехов!» Когда я спросил: «Почему естественно? У меня, например, грехов нет. И что это такое вообще?» – Он ответил: «Чушь! Все грешны. Это написано даже в вашей библии. Но мы от них спасены, а вы нет. Что, съел?» Тогда я спросил: «А почему мы нет?» И он ответил: «Потому, что вы распяли нашего Спасителя!» Когда я заверил его: «Честное слово! Я этого не делал. И мой отец, и дед тоже!» он злорадно рассмеялся и ушёл. На следующий день он со мной не разговаривал. Когда на третий день я спросил его: «Почему ты перестал со мной дружить?» – Он ответил: «Как будто ты сам не знаешь!» Тогда я впервые понял, что что-то со мной не в порядке. И это означало: *я еврей*.

Если вы спросите, когда я впервые почувствовал еврейскую судьбу преследуемого, я отвечу: в 15 лет, в 1917 году, за немецко-французским фронтом, в деревне Римож, где мы, гамбургские гимназисты, собирали урожай для нашей армии. И вот еврейская судьба: Я под-

ружился с врагом, 15-ти летним французом, сыном расстрелянного немцами партизана. Мы с ним поклялись «перековать мечи на орала» и торжественно заключили первый «Союз народов», – «unlo populorum», так это звучало на латыни, языке на котором мы общались, т.к. я не знал французского, а он – немецкого. Когда об этом узнали мои соученики, я испытал то, что потом терпели тысячи таких, как я: каждую ночь меня обливали ледяной водой и мазали грязью.

Если вы спросите, когда я впервые почувствовал связь с еврейским прошлым или с тем, что можно назвать «еврейской миссией», то я отвечу: это произошло 40 лет спустя, в 1958 году на рыночной площади Киото, в день памяти Хиросимы. Когда я, стоя под палящим августовским солнцем, говорил о том, что всемирная Хиросима не только возможна, но и вполне вероятна, я, неверующий, чувствовал, что рядом со мной стоят пророки Ветхого завета и шепчут мне грозные слова своих предсказаний. А если вы спросите, в какой день я испытал самый глубокий стыд – нет, не стыд быть евреем (никогда я не испытывал большего стыда, чем тогда, когда я встречал еврея, который стыдился быть евреем), а стыд за то, что я, еврей, ещё живу на этом свете, то я вам отвечу: в тот летний день, через 7 лет после Киото, когда я стоял в Освенциме перед горами обуви, очков, обрезанных кос, вырванных зубных протезов и оставшихся без хозяев чемоданов. И среди них, собственно, должны были быть и мои очки, мои зубные протезы, мои чемоданы. Тогда я почувствовал себя дезертиром, потому что я не был узником Освенцима, потому что я случайно избежал этого. И я не мог подумать «Слава Богу, что я остался жив». Как можно перед лицом миллионов тех, кто был виновен ничуть не больше, чем я, и ушёл с дымом крематориев в небо, благодарить за то, что остался жив? Да и кого благодарить, если никто не захотел предотвратить гибель шести миллионов. Этот стыд тесно связан с удивлением. Начиная с моего первого знакомства с еврейской историей, я не перестаю удивляться тому, что, несмотря на все преследования, избиения, бегства и скитания, мы сохранились как народ. И то, что и сегодня, после трагедии Холокоста, существует остаток остатка нашего народа, и случайно и я принадлежу к этому остатку остатка, – это чудо, которому я не перестаю удивляться много лет. И я хочу, чтобы оно сохранилось при любых обстоятельствах. Потому что мысль о том, что оплаченное такой кровью спасение выживших окажется напрасным, для меня невыносима. Поэтому я считаю себя евреем и именно как таковой и буду похоронен, даже если это будет без раввина и в каком-нибудь случайном месте.

И в заключение: Два года назад я стоял у Стены Плача, там, где в 70-х годах н. э. началась агасферическая история моего народа. Но утверждать, что круг замкнулся и я почувствовал, что вернулся домой, – было бы неправдой. Для меня, скитальца, который лишь иногда ненадолго останавливается в случайном месте, дорога стала домом. И именно бесприютность, а не этот кусок стены делает меня евреем. Со всем по-другому чувствовали себя два еврея, которые стояли справа и слева от меня. Для них это место было самым святым на земле. Они в трансе раскачивались вперёд и назад, бормоча молитвы, и снова и снова целуя бесчувственные камни, ради которых они приехали сюда, очевидно, из Америки. Один из них, седобородый, был примерно моих лет, около 75, другому было около 30. Если бы старший не напоминал мне моего покойного отца, а младший – моего внука, тогда бы то, что они обожествляли сотворённую человеческими руками вещь, показалось бы мне даже нееврейским. Ветхозаветных пророков, наверное, возмутили бы эти поцелуи, а я, неверующий потомок этих пророков, был глубоко поражён этим идолопоклонством.

Мой «внук» был так увлечён, что не обращал никого внимания ни на туристов, ни на меня. Наоборот, бородатый старик, который, конечно, сразу узнал во мне еврея, неоднократно поглядывал на меня испытующе. Его, очевидно, раздражало то, что я не молился. Как мог бы я ему объяснить, что я не только не умею, но и не хочу молиться? Потому что я, в отличие от моих родителей и дедушек, не знаю, что означает «молиться». Как бы то ни было, мой «брат» в конце концов, не выдержал и, ударив себя левой рукой в грудь, обратился ко мне на чистом бруклинском диалекте, качая бородатой головой, как человек, который потерял самообладание из-за глупости ближнего: «Без нас и тебя бы здесь не было!». После этого краткого сообщения он возобновил свои раскачивания и бормотание. Очевидно, он это делал ради всех евреев, а значит, и ради меня. Не могу сказать, что я сразу правильно понял его мысль, хоть она и не была чужда мне. Но я всё же удалился на цыпочках, чтобы не мешать ему. Он на это не обратил никакого внимания. Однако скоро я понял, что этот старик имел в виду, и хочу сейчас и здесь высказать ему свою благодарность, даже если она до него никогда не дойдёт.

Итак:

Я, который начинает заикаться, когда его спрашивают, в чём состоит его еврейство;

Я, который провёл свою юность без Торы;

Я, который никогда не праздновал Йом Кипур;

Я, который в свои 30 лет видел Адама, Давида и Иезекиеля только глазами Микеланджело;

Я, который как профессиональный философ, считает недостойным человека принять без проверки любые убеждения и нормы поведения;

Я, который не только не знает никакого Бога, но и считает все религии кошуном, так как они имеют дерзость давать ответы на вопросы, которые мы ещё не имеем права задавать;

Я, несмотря на всё это, должен высказать свою благодарность моему бородатому брату в кафтане, и не только ему, но и тем 70 поколениям таких, как он, которые жили до него.

И именно за то, что они, несмотря на все преследования и избиения, со времени разрушения Храма упрямо пронесли и передали следующим поколениям свою Тору и ставшую давным-давно абсурдной систему обычаев, регулирующую почти поминутно всю их жизнь. Благодаря этому они, не имея под ногами клочка земли, который они могли бы назвать своим, сохранили свою идентичность. Да, именно им я должен высказать свою благодарность, потому что без их упрямства и я пропал бы где-нибудь по дороге, в Александрии или Гранаде, Амстердаме или Лодзи, как пропали, не оставив следа, мои бесчисленные братья и их родители и прародители.

Да, он прав, мой бородатый брат в кафтане. Без них меня здесь не было бы.



• «ДО И ПОСЛЕ» • НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ •



КАРЛ АБРАГАМ

(с немецкого)

Пауль Р. Франке

(Автор никогда не публиковался)

ТИШИНА

Самое страшное -
Тишина,
Настоящая тишина.
Не та, что у моря,
не та, что в пустыне,
и не тишина летней ночи
среди бесконечных звёзд.

Эта тишина
отвечает тебе,
говорит с тобой.
Не эту тишину
я имею ввиду...

Я имею ввиду
страшную тишину,
говорящих людей,

с которыми я беседую.
Никто не говорит со мной.
И на мои слова
никто не отвечает

Это та тишина,
что оставляет мои желания
в отношении тебя
неудовлетворёнными.
Это тишина одиночества
посреди...

Чего?

НА ПОЛПУТИ

Шаги на снегу.
Солнечный луч.
Я есмь и это прекрасно.
Благодарность:
До сих пор всё шло хорошо

Внезапно соколом
из-под небес
в сознание врывается мысль:
«Ведь только вчера
было тебе двенадцать!»

Как быстро промчалось время.
Где оно осталось?
И почему стрелки этих часов
так торопятся?
И, чем короче становится путь,
тем быстрее идут часы.

И всё же:
я есмь и это хорошо!

* * *

Шумно щебечут ласточки
В полёте своём стремительном.
О, как я завидую
изящному их искусству

А я прикован к земле,
и мой полёт только в мыслях,
но ваше желание летать
мне хорошо знакомо.

Смотрю из окна на вас с завистью,
смотрю из окна и надеюсь,
что и на будущий год
мы с вами ещё встретимся.

* * *

Полнолуние...
Тёплой летней ночью
лёгкий дождь
напоил воздух свежестью

Хочу танцевать
с молодыми людьми
на летнем лугу.
И пить вино, и петь,
и танцевать, танцевать, танцевать,
как фавн.

Слушать музыку,
петь, танцевать
И любить.
Со многими людьми
в хороводе,
чтобы все чувствовали
то же, что и я.

Ах ты, старый глупый мечтатель!



ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ
(с немецкого)

Эрих Мюзам

СВЯТАЯ НОЧЬ

Недалеко от Вифлеема
ребёнок из колена Сема
в коровьем стойле родился,
и хоть прошло так много лет,
но рад тому поныне всяк,
что он явился в этот свет:
министры, и аграрии,
буржуи, пролетарии –
проверенные арии –
все празднуют повсюду,
Христа дивятся чуду.
 (Его народу все века
 роднее всё же Ханука).

Вольф Бирманн

ПАРДОН

Я жив ещё! – пардон, точнее –
 я не мертвяк.
Имею всё, что надо мне, пардон,
 но я бедняк.

Я свеж пока! – пардон, точнее –
ещё не сгнил я.
Я рад быть здесь! – пардон, скажу:
покуда мил вам.

Я не паду! – пардон, точнее –
лежать не склонен.
Я как герой! – пардон, точнее –
я просто клоун.
Имею власть! – пардон, скажу:
на шкуре знал.
Ни человека, ни свинью
не соблазнял.

Прекрасен мир! – пардон, точнее –
он на краю, в тоске.
Опора вы! – пардон, точнее –
я строю на песке.
Здесь, на Земле, – хочу сказать:
горящей, как нарыв,
наступит вечный мир! – пардон,
но прежде будет взрыв.

Я вас люблю! – пардон, точнее –
держу за пугал.
Очаг мой здесь! – пардон, точнее –
снимаю угол.
Люблю я петь! – пардон, скажу:
чтоб в крике не зайтись.
Я с вами весь! – пардон, точнее –
совсем один в пути.



ДАВИД ЯНОВСКИЙ

с немецкого

Адельберт Шамиссо

РАЗГЛАШЁННАЯ ЛЮБОВЬ

Никто не видел, как ночью
Целовались мы вновь и вновь.
Одним только звёздам в небе
Доверили мы любовь.

Но в море звезда упала,
И тайна морю досталась.
Море веслу рассказало,
А весло рыбаку проболталось.

Песню своей любимой
Пропел рыбак по секрету,
И вот все жители города
Хором поют об этом.

Иоганн Готфрид Гердер

ОБМЕН СЕРДЦАМИ

Своё мне сердце не даёшь,
Тогда отдай моё!
Скажи, зачем оно тебе,
Коль не даёшь своё?

Верни его! А впрочем, пусть!
Вернёшь его назад –
И вновь похитит у меня
Его твой дивный взгляд.

Ты спрячь его! В твоей груди
Сердец пусть будет два.
Друг другу будут там они
Шептать любви слова.

Тогда сомнения мои –
Конечно же враньё:
Твоё я сердце получу,
Раз у тебя моё.

Фридрих Рюккерт

МОРЕ НАДЕЖДЫ

Волну за волной разбивает скала,
Но море их вновь создаёт без числа.
Хоть жизнь разбивает надежды сурово,
Но сердце надеется снова и снова.

Волны взлетают и тонут в просторе,
И этим живёт бесконечное море.
Надежда надежду зовёт за собой, –
И бьётся без устали в сердце прибой.

Фридрих Геббель

Я И ТЫ

Мы друг другу приснились,
И проснулись от этого мы,
Лишь для любви мы жили,
И вернулись в обитель тьмы.

Из сна моего ты вышла,
Я вышел из твоего.
Когда мы соединились,
Не осталось от нас ничего.

Две капли росы дрожали
На лилии лепестке,
Слились они и скатились
Вниз в безысходной тоске.

Август Мальманн

СПАСЕНИЕ

Если мир тебя отвергнет,
Если мукой станет жизнь,
Если звёзды все померкнут,
Что спасёт тебя, скажи?

Внешних не ищи путей
И не верь чужим советам.
Ложь – обычай у людей,
Ты отлично знаешь это.

Погружайся вглубь себя.
Силы, спящие беспечно,
Вмиг твоё разбудит Я.
В этом мире бесконечном.

Это мир твоей мечты.
Твёрдо знай: пока он твой,
Улыбаясь примешь ты
От судьбы удар любой.

Коль себе ты будешь верен,
То не страшен рока гнёт.
Бог в тебе! Забудь потери!
Верь ему, и он спасёт!

Гуго Фон Гофмансталь

* * *

Бокал душистого вина
Легко в руке несла она,
И шла так твёрдо, что бокал
Ни капли влаги не ронял.

Конь молодой под ним дрожал,
Его рука было тверда:
Хоть чуть натянута узда,
Конь, словно вкопанный, стоял.

Он взять бокал хотел, но вдруг
Сердца их сжались, как одно,
И боль была так велика,

Что руку не нашла рука,
Сквозь трепет рук, под сердца стук
Пролилось тёмное вино.

Бертольд Брехт

ВОСПОМИНАНИЕ О МАРИ А.

В тот давний день в лазурном сентябре
Стояли мы под молодою сливой.
Я тихо обнимал свою любовь,
Она была нежна, как сон счастливый.
Над нами облако в бездонном синем небе
Явилось, как по мановенью жезла,
Невероятно белое, как снег,
Когда я вновь взглянул, оно исчезло.

С тех пор немало месяцев прошло,
Проплыло мимо, в никуда умчалось.
Те сливы, может быть, уже срубили...
Ты спрашиваешь, что с любовью стало? –
Я понимаю твой вопрос, но только
Я говорю тебе: не помню ничего.
Её лицо уже давно забыл я,
Одно лишь помню: целовал его.

Не будь над нами облака, забыл бы
Я поцелуй за долгие года,
Но знаю, эту белизну над нами
Я в жизни не забуду никогда.
Быть может, всё ещё цветут те сливы,
У женщины семь деток родилось...
А облако я видел лишь минуту,
Оно куда-то с ветром унеслось.



НОРА ГАЙДУКОВА
(с испанского)

Хосе Сантана

БЫК – 1

Внимание!
Много внимания
Нужно тореадору:
Предвидеть будущее,
Помнить прошедшее.
Остаться одному.
Стать точкой.
Угадать вращенье колеса.
Какая боль
Представить себя крошкой-фантомом
Перед быком, – огромным объектом
Из темноты и страха.
Внимание!
Много внимания
Нужно тореадору.

БЫК – 2

Бык – это раненый любовник.
Желанье, страсть и безнадежность –
Вот, из чего он состоит.
Ах, это сердце, раненое страстью,

С тремя порезами, – проколами любви.
В лесу нездешнем, ищущем название,
Где он один зализывает раны, –
Внезапна беспощадная атака,
Нигде не прекращается борьба...
Что, командир, ты сможешь иль не сможешь?
Незримый циркуль чертит круг за кругом,
Как центр страха: всех нас ждёт арена...
Одна и та же тень сопровождает
И торо, и тореро.
Лишь до того, чтоб снова стать растением,
До общего известного финала,
В который введены мы непрерывно.

БЫК – 3

Помимо прочего есть бык.
Бредёт по улице за вами
Фигура чёрная с рогами –
Вот вашей жизни черновик.
Бык – наваждение, бык – желанье,
Уж за спиной его дыханье.
Бык за стеклом, бык в ресторане.
Бык из бумаги, на стакане.
Бык – сигареты, амулеты.
Духи, открытки и конфеты...
Оставьте! Кончена борьба!
Бык – и проклятье, и судьба.



ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

(с немецкого)

Детлев Фон Лилиенкрон

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Как волны, люди катятся потоком
по улицам: поодиночке, вместе,
я среди них несмело, как-то сбоку...
Без устали шарманичик крутит песни.

В небытие ныряют эти волны,
лишь улицы на закреплённом месте,
хранят ночами полное безмолвье...
По-прежнему шарманичик крутит песни.

Проходит жизнь безудержно и строго.
Никто и не заметит даже, если
мой гроб свезут по каменной дороге...
Не прекратит крутить шарманичик песни.

И ЭТО ВСЁ...

В сиянье солнечном играет майский день.
Июльский день в веночках из колосьев...
Но сон о счастье, словно отдых, набекрень.
и жизнь – дилижанс с кривою осью,
вся в спешке, суете: то в гору, то с горы, -

вы это всё попробуйте, измерьте.
Сплетается она из утренней зари
в сеть ветхую из паутины смерти.

СТРОЙНЫЙ ТОПОЛЬ

Стройный тополь, листвою богатый,
служит всем барометром времени...
Жизнь спешит к своему закату,
под тяжёлым сгибаясь бременем.

Возвратится осень и будет
листья с веток срывать отчаянно.
Снова птицы песней разбудят
зимний лес от сна и молчания.

Осень всё расставит, как прежде:
облик леса станет красивым.
Тополь в сердце вдохнёт надежду,
душу тронут леса мотивы.

Христиан Моргенштерн

СЕЯТЕЛЬ

Ходит по миру задорно
смерть гигантскими шагами.
Из мешка достанет зёрна –
сеет мощными горстями.
Хочешь спрятаться получше,
но без всякого предлога
шлёт посев она из тучи,
снаряжая нас в дорогу...

Ходит по миру задорно
смерть гигантскими шагами,
пригоршнями сеет зёрна
над людскими головами.

НА РЕКЕ

На небе облаков темнеющий венок
Металлом на реке бесцеремонно лёг.
Леса со всех сторон от темени мертвы.
И лодка по волнам летит, как через рвы...

Звук эха вдалеке. И снова тишина
как-будто бы на ней лежит моя вина.
Волна себе спешит, её я не зову.
Пригрезилось, что я за ней вослед плыву...

Я постоянно мчусь неведомо куда.
Лишь мысль гонит прочь без страха и стыда.
И время не стоит: с зарёй пришёл рассвет.
А я всё тороплюсь. Куда? Ответа нет.

(с польского)

Болеслав Лесьмян

БЕЗЛЮДНАЯ БАЛЛАДА

Недоступен он взгляду людей. Их не видел вокруг.
В изумрудном покое расцвёл этот девственный луг
Среди зелени яркой заплатой искрился родник
И вишнёвой улыбкой играли головки гвоздик.
Рот в росу утопив оборвал свои трели сверчок.

На изломе стеблей с одуванчиков капает сок.
Луг вдохнул глядя в солнце, а выдохнул так, наобум,
И никто, не увидел, как вдруг стал он снова угрюм.
Где горячая грудь? Я найти не могу.
Не сомкнул я уста на июньском лугу.
И цветы не собрал в разноцветья букет,
И на нём моих рук не отыщется след.
Светлый Ангел в тумане, как призрак, возник в вышине.
Это Дева из мглы хочет тихо спуститься ко мне,
Я услышал, как ищет она этот праведный путь, -
С золотистой косой, обнажив свою белую грудь.
Растерялась сперва, будто кто-то её оглушил
Захлебнулась вконец навсегда, – не хватило ей сил.
Это место, что ждало её, продолжает шуметь,
Благовонное место для тела не закроется впредь.
Где горячая грудь? Я найти не могу.
Не сомкнул я уста на июньском лугу.
И цветы не собрал в разноцветья букет,
И на нём моих рук не отыщется след.
Торопились сюда, привлечённые шорохом трав,
К пяточку на лугу, на него насекомых собрав:
В пустоте пауки попытались поймать свою тень,
Жук победу трубил, для себя обозначив мишень,
И оса отходную жужжала, рыдали сверчки,
Завернули колечком цветы на прощанье венки.
Собрались в этом месте под солнцем, чтоб праздник продлить,
Кроме той, что могла б, но, увы, – никогда ей не быть.
Где горячая грудь? Я найти не могу.
Не сомкнул я уста на июньском лугу.
И цветы не собрал в разноцветья букет.
И на нём моих рук не отыщется след.

ПАМЯТИ МАРГАРИТЫ ИХ

Умерла Маргарита Их. Бог наградил её долголетием. Наверное, потому что она безудержно, неумно любила жизнь. Во всех её проявлениях. Любила подруг, мужчин, природу, птиц и животных. Словом всё, что её окружало. Обладая незаурядным писательским дарованием, прекрасной памятью, хорошей эрудицией, она сумела всё это выразить в своих рассказах.

ИХ – это, собственно, немецкая транскрипция её подлинной наследственной фамилии Иш (или Иша), что в переводе с иврита означает ЖЕНЩИНА. И это справедливо, ибо Маргарита была настоящей Женщиной с большой буквы. Со всеми женскими радостями, горестями, капризами и уступками.

Но, прежде всего, она была одарённым рассказчиком, первоклассным другом, доброжелательным человеком.

До эмиграции она не опубликовала ни строчки. Когда в Берлине начал выходить первый русскоязычный альманах «Берега» в нём сразу же появились её два рассказа «Почтовая» и «Ферштеен зи», которые привлекли всеобщее внимание, и уже во всех последующих изданиях, читатели искали её произведения, с удовольствием читали и пересказывали их друг другу. В ежегодном литературном альманахе «До и после», регулярно появлялись её рассказы и повести. За ними последовали подряд четыре её книги, персональные творческие вечера, индивидуальные встречи с читателями, – всё проходило с постоянным успехом и симпатией доверительного диалога. Маргарита часто выступала с устными рассказами, к сожалению, многие из них не записаны. Она сумела до конца своих дней сохранить молодое озорство, первоклассный юмор, в лучшем смысле слова, непосредственность, своеобразную «детскость», открытую улыбку, самоиронию. Грустно говорить о ней в прошедшем времени, кажется, что вот-вот откроется дверь и она, весёлая, задорная войдёт и расцелует всех, но, увы... Мы лишились одного из лучших наших Авторы и доброго, сердечного Друга.

Прощайте, Маргарита Ильинична. Милая, светлая Маргоша.
Вечная память!

Члены Берлинского клуба литературы и искусства.

Оглавление

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Любовь Рейнгац	4
Борис Рохлин	11
Давид Яновский	17
Марк Шейнбаум	22
Леонид Бердичевский	30
Анжелла Подольская	38
Альберт Леин	52
Карл Абрагам	62
Генриетта Ляховицкая	67
Станислав Львович	78
Валерий Матэтский	91
Марина Авербух	100
Тамара Жирмунская	105
Леонид Сысолетин	111
Игорь Коган	115
Марлен Глинкин	123
Семён Лурье	127
Инна Иохвидович	131
Вера Фёдорова	139
Михаил Эненштейн	145
Радомира Шевченко	153
Алесь Эротич	156
Кирилл Романовский	166
Михаил Гордин	173
Нора Гайдукова	177
Наталья Горбатюк	181
Ефим Баренбойм	184
Елена Зельгер	187
Ася Прощко	190
Константин Кербель	192
Андрей Кучаев	195
Татьяна Устинская	200
Сергей Штурц	203

**ПУБЛИЦИСТИКА.
ЭССЕИСТИКА**

Леонид Бердичевский	207
Марлен Глинкин	211
Карл Абрагам	215
Ольга Бутенко	223
Алесь Эротич	229
Давид Яновский	231

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Карл Абрагам	237
Генриетта Ляховицкая	241
Давид Яновский	243
Нора Гайдукова	248
Леонид Бердичевский	250
Памяти Маргариты Их	254

* * *

*Фотопортреты авторов в альманахе
«До и после» № 10 выполнены
Валерием Матэетским*

